

Мюальфа Тэтаэта

(мюальфа тэтаэта мюальфа тауйота капшаальфа)

Константин Димитриакис

<http://mualpha.sdf.org> mualpha@sdf.org

2005–10–30

Оглавление

Часть первая	2
1.1. Константин Димитриакис	2
1.2. Греческий текст	8
1.3. Магазин экспериментальных продуктов. Разговор с профессором Раджафером	12
1.4. Письмо	15
1.5. Запись из тетрадки профессора Варанга	17
1.6. Яблочные косточки и миндаль	19
1.7. Последний день пребывания в институте	21
Часть вторая	25
2.1. Приём в императорском дворце. Посвящение Гвенаэля в придворные писатели	25
2.2. Электронная почта	28
2.3. Конфуций, Гвенаэль и Альсбета	29
2.4. О том, к чему может привести необычайно жаркая погода	32
2.5. Пробуждение	35
2.6. Дом, поддерживаемый пятками деревянного атланта	41
2.7. Конференция по теории мембран	42
Часть третья. Вместо эпилога	46
От редакции выпуска	48

Часть первая

1.1. Константин Димитриакис

Меня зовут Константин Димитриакис, я родился в Греции и закончил университет в Афинах по специальности математика. Многие, когда слышат слово математика, тут же говорят, что это безумно сложное занятие, но мне так не казалось. Я тратил не слишком много усилий на учёбу, и при этом считался одним из лучших студентов своего курса. Мой научный руководитель был очень доволен моей дипломной работой, и не подозревал, что, занимаясь ею, я не меньше времени тратил на плавание в море, походы, вечеринки и игру в карты.

В аспирантуру я решил поехать в Америку: так мне советовал мой научный руководитель, так хотели мои родители, к тому же мне самому было любопытно немного пожить в какой-нибудь малознакомой пока стране, не говоря уж о том что аспирантские стипендии в Америке были большими и поэтому весьма привлекательными.

Начало лета я провёл на море, потом навестил родителей и съездил к бабушке и дедушке, живущими на острове Итака. В отличие от родителей бабушка с дедушкой плохо понимали, что такое Америка, для них эта была неведомая страна, находящаяся за огромным океаном. Но, как и все живущие на островах люди, они знали, что океан — это просто большое-большое море, так что Америка для них была просто большим незнакомым островом, намного более далёким и большим чем Кефалония, но чем-то её, возможно, напоминающим. Их немного беспокоила моя предстоящая поездка, и они расстраивались, что теперь будут видеть меня гораздо реже, чем пока я жил в Афинах. Но они сами понимали, что, к примеру, на Кефалонии не бывает аспирантуры по математике, и мало-помалу согласились с тем, что раз уж я решил ехать в Соединённые Штаты, то так тому и быть.

Покинув Итаку греческую, островную и скалистую, я переселился в Итаку американскую, плоскую и лесистую, а более точно в находящийся в американской Итаке город Корнелл, потому что отныне я был аспирантом Корнелльского университета.

Первый год моего пребывания в Америке был очень весёлым. Я немного скучал по морю и по оставшимся в Греции друзьям, но у меня появилось много новых друзей, а студенческая жизнь в Корнелле была не менее бурной, чем в Афинах. Заниматься математикой приходилось немного больше, чем раньше, но я по-прежнему считал, что эти занятия очень неплохо можно совмещать с развлечениями, вечеринками и партиями в бридж.

Но к концу учебного года что-то изменилось. Я уже не помню точно, когда это произошло, то ли, когда я узнал об одной новой задаче, то ли несколько позже, когда я уже получше в неё вдумался. Постепенно математика начала вытеснять всё остальное: я начинал о ней думать утром и не замечал, как наступал вечер. Ночью иногда тоже, вместо того, чтобы спать, я думал о своей задаче. Но всё-таки ночных размышлений я старался по возможности избегать, потому что понимал, что несколько ночей без сна я не выдержу, так что даже для самих занятий математикой будет намного лучше, если я ночью не буду заниматься, но избежать этого соблазна было не так-то просто.

На лето я поехал в Афины. Встречи со старыми друзьями, тёплое греческое море заставили меня немного отвлечься от математики и вернули меня на время к старому жизненному ритму. Но это не значит, что летом я забыл про свою задачу. Я по-прежнему о ней думал — иногда в гостях у своих родителей, иногда на морском берегу, иногда ночью в постели перед тем как заснуть — но всё-таки думал о ней менее напряжённо и сосредоточенно, чем раньше.

В конце августа я вернулся в Корнелл, и у меня снова появилось больше времени для занятий математикой. И к концу сентября мне впервые стало казаться, что задача, наконец, сдвинулась с мёртвой точки. Примерно в это же время я сделал несколько странное наблюдение — задумавшись о математике, я иногда не мог сказать, как течёт время: думал ли я в течение получаса или нескольких часов? И, теряя счёт времени и только к вечеру отвлекаясь от своих размышлений, я обычно не мог вспомнить, о чём именно я думал весь день, я только чувствовал, что очень устал, и у меня было очень странное ощущение, будто бы я вовсе не думал до этого о математике, а занимался тяжёлой физической работой. Образ, который мне приходил в голову, был почему-то сбором риса. Стоило мне один раз подумать об этом сравнении, как потом мне даже казалось, что после занятий у меня остаются несколько затуманенные воспоминания: как весь день, стоя по колено в воде, я собираю рис, с утра до самого вечера делаю однообразные монотонные движения, и палящее, висящее над рисовым полем солнце делает эту скучную и малоинтересную работу ещё более тяжёлой.

После таких дней я начинал сомневаться в правильности избранного мной пути. И всё-таки у меня было ощущение, что мои размышления куда-то двигаются. Может быть, я ошибался в том, что я сделал до этого некоторый прогресс? Если ответ был не таким, как я на это надеялся, то от доказанного мной недавно утверждения в конечном счёте могло не быть никакого толка. Но я не сдавался, сам не знаю уже почему — надеялся ли я на победу, была ли тема мне настолько интересной, что я был не в силах от неё оторваться, или, может быть, просто из упрямства?

И, одним октябрьским вечером, борьба моя с моей задачей наконец завершилась: ответ оказался именно таким, как я всё это время предполагал, и мне удалось это доказать!

Ночью я с трудом заснул, меня уже начинали мучить сомнения — не допустил ли я в своём аргументе какой-либо ошибки? В моём доказательстве была пара довольно тонких мест, где запросто можно было серьёзно провратиться. Я понимал, что в этих двух сомнительных леммах нельзя быть до конца уверенным, пока не запишешь их доказательства, а записывать доказательства я очень не любил.

У меня был не очень большой, правда, опыт с моей дипломной работой: мне гораздо больше понравилось решать задачу, чем писать о ней статью. Собственно, это даже не настоящая статья была, а коротенькая заметка для «Comptes rendus» французской академии наук, но написание этих четырёх—пяти страничек маленькой заметки отняло у меня немало времени и не доставило никакого удовольствия. И всё же я решил: прямо завтра утром сяду записывать своё новое доказательство, и после принятия этого решения я смог наконец заснуть.

Но утром, прежде чем садиться записывать моё доказательство, я решил его ещё раз хорошенько обдумать. Это обдумывание заняло в результате несколько дней, и только в начале следующей недели я начал его записывать. Я настолько беспокоился о возможной ошибке, что даже не хотел в начале говорить о своём результате научному руководителю прежде, чем всё сумею записать. Но в конце концов я всё-таки решил, что рассказать надо: тем более что многие очень существенно используемые мной идеи я узнал именно от него, было бы нехорошо после этого что-либо от него скрывать.

Мой шеф вначале несколько недоверчиво отнёсся к доказанной мной теореме, но после того как я рассказал ему все основные этапы доказательства, кажется, стал менее скептическим.

— И всё-таки, — сказал он, — чтобы до конца быть уверенным я хотел бы увидеть всё в письменном виде, особенно доказательство леммы о локализации.

— И поторопитесь с написанием Вашего препринта, — добавил он. — Я знаю, что у профессора Варанга есть студент, который занимается очень близкой тематикой. Как только статья будет готова, надо будет сразу же послать её Варангу.

Но меня не надо было поторапливать: уже через пару недель предварительная версия моей статьи была закончена. Правда, это была действительно очень предварительная версия, ещё очень далёкая от той, которую можно было бы послать на рассмотрение в журнал. Но мой шеф теперь уже полностью согласился с правильностью моего аргумента, и даже сказал, что внеся в препринт несколько исправлений, его можно будет послать нескольким специалистам, в том числе профессору Варангу.

Перед тем, как рассылать свою статью, я снова начал колебаться. Нет ли подвоха в доказательстве самой первой леммы? Я настолько был в ней с самого начала уверен, что последнее время о ней совсем не думал, и доказательство записал довольно небрежно. Но нет, кажется с первой леммой всё-таки особых проблем не было. Потом я стал нервничать насчёт применения теоремы Мишры: я никогда сам до конца не разбирался в её доказательстве, если она окажется неверна, то весь мой аргумент полностью провалится. Конечно, теорема Мишры была результатом, который стал уже почти что классическим, но, самому не проверив, ни в чём ведь нельзя быть до конца уверенным!

Но, не без помощи моего научного руководителя, по поводу теоремы Мишры в конце концов я тоже более или менее перестал беспокоиться, после чего, наконец, разослал свой препринт. Неплохо было бы также положить его на мою электронную страницу, но от этого я пока что воздержался.

Больше всего меня интересовала возможная реакция профессора Варанга. Первые дни он ничего не отвечал. Это было довольно естественным, он был человеком занятым, наивно было бы ожидать, что, получив мой препринт, он сразу бросится его читать. И всё же, проверяя по несколько раз в день электронную почту, я с грустью говорил себе, что он мог бы хотя подтвердить получение моей статьи. «Дорогой Константин, спасибо за Вашу статью. С уважением, ...» — и дальше подпись. Казалось бы, даже у занятого человека такой ответ не отнял бы очень много времени, а мне бы уже было веселее. Я говорил себе, что возможно он никогда мне не ответит, такое часто случается, и что очень глупо так вот каждый день надеяться на его возможный ответ. Но всё-таки уже через неделю он мне написал, и это было не просто формальное подтверждение о получении моего электронного письма.

Открыв его послание, я подумал, что у него уже есть комментарии или замечания по поводу моей статьи — то, что он писал, было заметно длиннее, чем пара строчек. Но оказалось, что мой текст, как это и следовало ожидать, он ещё не начал читать, только посмотрел на основную формулировку, и она его заинтересовала. Зато он предлагал мне приехать в институт высших научных исследований, в котором он работал, и поговорить с ним лично. На такое я до этого совершенно не мог рассчитывать! И причём не когда-нибудь приехать, а прямо сейчас! «Лучше всего, — писал он, — если вы сможете приехать до конца декабря, потому что в этом году у нас

в институте есть специальная программа для молодых учёных, проще всего мне вас пригласить в её рамках, но если не получится приехать в декабре, приезжайте в январе или в феврале (потом, начиная с марта, я буду в течение двух с половиной месяцев отсутствовать)».

Конечно, я тут же с огромной радостью принял его приглашение. Мне было ужасно интересно с ним лично встретиться, к тому же, я от многих слышал о том, что институт высших научных исследований был очень интересным местом, а я до этого никогда раньше в нём не был. Я договорился о переносе своих занятий (в этом семестре я вёл практические занятия по анализу для нескольких групп первокурсников), купил билет на самолёт, но за несколько дней до отлёта заболел. Откладывать поездку ужасно не хотелось, но с температурой под сорок я всё-таки не в силах был куда-либо ехать. К тому же, даже когда температуру удавалось сбить, я чувствовал необычайную слабость, такую, что даже ходить по квартире я мог только с заметным трудом.

Я написал Варангу и секретарше, которая в институте высших научных исследований занималась визитами, о том что из-за гриппа мне приходится приехать позже, и перенёс свой билет на самолёт на неделю, но через неделю я по-прежнему чувствовал себя очень плохо. Я понял, что придётся сходить к врачу, хотя вообще-то ходить к врачу по поводу простуды или гриппа мне казалось обычно довольно бессмысленным. Но в данный момент мне чрезвычайно хотелось поскорее поправиться, к тому же узнав о моей болезни мама ужасно волновалась, звонила мне каждый день и совершенно негодовала по поводу того, что я до сих пор ещё не был у врача.

Врач назначил мне какие-то анализы, а потом, глядя на их результаты, долго задумчиво качал головой, прослушивал мне внимательно сердце, хотя никаких проблем с сердцем у меня до этого не наблюдалось, и задавал немного странные вопросы:

— Вы не пьёте регулярно и в больших количествах алкоголь?

— Чем вы обычно питаетесь — я понимаю, конечно, большинство студентов питается не очень полноценно и чем придётся, но ведь хотя бы когда-нибудь вы едите овощи, фрукты, хлеб или мясо?

— Вы пьёте когда-нибудь молоко?

— Едите ли вы что-либо кроме очищенного риса?

Я очень удивился и немного встревожился. Питался я не слишком регулярно, но ведь действительно почти все студенты так делали. Алкоголь последние пару месяцев я, кажется, вообще совсем не пил. Раньше, когда я вёл значительно более весёлый образ жизни, бывали случаи, когда я изрядно напивался на какой-нибудь вечеринке, но, пожалуй, даже и про тот прошедший период было бы преувеличением сказать, что алкоголь я употреблял регулярно и в очень больших количествах.

— Значит, у меня не просто грипп? — спросил я у врача. — Что-нибудь серьёзное?

— Сейчас у вас грипп, — ответил врач. — Но не это меня беспокоит. У вас довольно сильный авитаминоз, из-за этого, возможно, вы довольно медленно сейчас поправляетесь. У вас присутствуют симптомы Бери—Бери, и это меня достаточно удивляет. Считается, что в Соединённых Штатах этой болезнью болеют только грудные дети, матери которых страдают недостатком витамина В, или хронические алкоголики. В Азии, кажется, ситуация иная, и до сих пор довольно много случаев Бери—Бери, особенно среди очень бедных слоев населения, питающихся одним только очищенным белым рисом...

В результате врач назначил мне несколько уколов тиамина, после которых мне следовало есть витамины уже в таблетках, посоветовал как можно более полноценно питаться и не слишком переутомляться с занятиями математикой, и велел мне приходить снова, если температура по-прежнему будет оставаться высокой. Не знаю, помогли ли мне уколы или просто мой грипп наконец закончился, но дней через десять я был наконец совершенно здоров. Был уже самый конец декабря, Новый год совсем скоро, но я и так уже несколько раз откладывал свою поездку, больше ждать мне совсем совершенно уже не хотелось. Поэтому получилось так, что вылетел я в итоге в самом конце декабря, и Новый год мне таким образом предстояло встретить не дома, а в институте высших научных исследований.

Перед отъездом я распечатал с интернет-страницы института высших научных исследований указания о том, как до него добираться, но внимательно прочёл их только в самолёте. Прочитав, я забеспокоился, не оставил ли я часть инструкции дома. Я не раз до этого слышал о том, что институт находится не в самом городе, а в лесу неподалёку от него, указания же оканчивались словами: сесть на 25-ую линию метро в направлении Юг—2 и доехать до станции ИВНИ. Что делать после этого, не было сказано. Трудно представить, что метро могло вести прямо в лес, значит наверняка после этого надо пересесть на какой-нибудь автобус? Я не сразу догадался, что ИВНИ означает институт высших научных исследований, но потом догадался наконец и решил, что возможно никакой автобус мне всё-таки не нужен. Ведь если бы станция метро находилась бы достаточно далеко от института, вряд ли бы её назвали в его честь.

Прилетев, я довольно быстро получил багаж, вышел из аэропорта и сел в метро.

Поезд, на котором я ехал, на некоторое время вынырнул на поверхность, но вскоре снова ушёл под землю, так что я не мог видеть, где именно он едет. Я разглядывал названия проезжаемых станций, вначале они были мало о чём говорящими, но потом стали попадаться такие как «Южная роща», «Лесной ручей», и это меня несколько ободрило. Может, метро и правда довезёт меня до самого леса, в котором находился институт?

Мои ожидания оправдались, выйдя на станции ИВНИ и поднявшись по эскалатору, я оказался на дороге,

по одну сторону от которой находилась небольшая деревенька, а по другую сторону — хвойный лес, деревья которого я никогда раньше не видел, какие-то полусосны—полуёлки. Неподалёку от меня начиналась довольно широкая тропинка, она уходила в лес, и через некоторое время на ней виднелся указатель. Одна из его стрелок была направлена в мою сторону, на ней был нарисована большая буква М и написано в кавычках ИВНИ, что всё вместе наверняка должно было означать: станция метро «ИВНИ». На другой, смотрящей в противоположную сторону стрелке было просто написано ИВНИ, уже без буквы М и без кавычек. Я пошёл по тропинке, и минут через пятнадцать ходьбы оказался перед институтом.

Он находился в большом парке, огороженном невысокой каменной оградой. Деревья в парке росли не так густо, как в лесу, через который я только что прошёл. Часть из них была всё теми же полусоснами—полуёлками, но попадались также и другие деревья, многие из которых тоже были хвойными. Так что почти все они были несмотря на зиму зелёными, не считая нескольких рябин и довольно большого, поднимающегося по склону холма вправо от моей дорожки кустарника, не то это был малинник, не то кусты ежевики, точно я не мог сказать. Насчёт рябин я тоже не был уверен, потому что до этого видел их только на картинках, но на некоторых из них висели грозди красноватых маленьких ягод, именно так по моим представлениям должны были выглядеть зимой эти деревья.

Через большие ворота, которые были настежь распахнуты, я вошёл на территорию института и по петляющей между ёлок и сосен тропинке добрался до главного научного здания.

В институте меня ждало некоторое разочарование. Оказалось, что сейчас, перед Новым годом, людей в нём гораздо меньше, чем обычно. Мне удалось, правда, зарегистрироваться и получить ключ от моего кабинета, но даже записаться в библиотеку уже было нельзя до начала января. Что касается библиотеки, впрочем, мне объяснили, что она всё время открыта, так что в неё всегда можно заходить и читать то, что ты хочешь. Только вот книги из неё нельзя выносить, пока не записался.

Ещё мне сказали, что профессора Варанга сегодня нет, и что он появится теперь уже только после Нового года. И что многие другие профессора и визитёры тоже сегодня отсутствуют. Вообще-то, это я мог предвидеть заранее — 30 декабря у нас в университете людей было ещё намного меньше, чем тут в институте. Но узнав, что Варанга я смогу увидеть только через несколько дней, я довольно сильно расстроился.

Правда, я уже заметил, где находится его кабинет — он был на первом этаже, недалеко от входа. Я вышел в административное здание, чтобы оформить какие-то бумажки связанные с моим приездом, и на обратном пути не удержался и заглянул в окно кабинета Варанга. Окно было большим и находилось не слишком высоко, поэтому кабинет можно было неплохо разглядеть: мне удалось увидеть несколько заставленных книг и от-тисками книжных полок, нахлобученную на вешалку для пальто чёрную мужскую шляпу, и ещё повешенную над письменным столом фотографию белой дикой лошади. В остальном ничего особенно примечательного.

Я был довольно голодным и решил узнать, где здесь поблизости можно поесть. Оказалось, что каждый день в институте бывает общественный обед. Это объяснила мне одна из секретарш. Она также показала мне столовую, это было небольшое одноэтажное здание, находящееся в пятистах метрах от главного научного здания, и выглядевшее заметно иначе, наверное, потому что было гораздо более старым.

За несколько минут до обеденного времени, я увидел как многие профессора и посетители института стали двигаться по дорожке в сторону столовой, и тоже к ним присоединился. Я почти ни с кем ещё не успел познакомиться, но про некоторых людей догадывался, кем они были. Вот, например, тот высокий тощий человек, с немного развевающимися по ветру растрёпанными волосами и блистающими огненными глазами, наверняка это знаменитый профессор Фифтифулз. Я никогда его раньше не видел, но зато не раз видел его фотографии, один раз про него, кажется, даже была статья в «Нью-Йорк Таймс». Я прислушался к разговору, который он вёл со своими спутниками — да, да, наверняка это был Фифтифулз. Раздел математики, которым я занимался, был весьма далёк от области, которой занимался, или, вернее, которую основал Фифтифулз, и всё же мне было очень интересно послушать то, о чём он говорил.

Недалеко от входа в столовую я увидел двух человек, которые шли нам навстречу, и услышал обрывок их разговора. Один из них, помоложе, крепкого сложения и с несколько жёстким выражением лица, говорил другому, невысокому и довольно толстому:

— Вы, я смотрю, как и я не ходите на общественный ланч?

— Да, не хожу, уж больно не по мне эта еда, — отвечал его собеседник. — На мой взгляд, было бы неплохо сменить повара в столовой. Хотя многим, я слышал, наоборот очень нравятся институтские обеды. Я пытался иногда на них ходить, ведь вы знаете, именно за ланчем часто обсуждаются весьма важные планы и новости. Но каждый раз, когда я здесь поем, у меня так после этого болит живот, что я отказался от этих попыток. Просто съедаю по утрам более плотный завтрак, чтобы потом без ланча как-нибудь дотянуть до ужина.

Обед в институте очень сильно отличался от еды в обычной университетской столовке. Для начала, все сидели за длинными столами, покрытым клетчатой скатертью и на колени полагалось класть клетчатую матерчатую салфетку — уже всё это в академическом мире было необычной роскошью. Меню тоже было гораздо интереснее, чем это бывает в университетах: на закуску — салат из маринованной ежевики, потом — курица, запечённая с яблоками и крупный тёмного цвета рис. «Неочищенный», — отметил я про себя. Хотя история о том, как я возможно болел Бери—Бери, была довольно странной, хотя в любом случае никогда я не питался

одним только рисом и, наконец, хотя где-то в интернете я нашёл недавнюю информацию о том, что Бери—Бери вообще, вопреки стандартному мнению, не связана с авитаминозом, у меня всё-таки навсегда теперь возникло сильное предубеждение против белого, лишённого витамина В риса.

Каким бы вкусным ни был сегодняшний обед, я едва успевал его есть, потому что со всех сторон от меня шли очень оживлённые математические беседы, я поворачивал голову то налево, то направо и с вниманием их слушал, не решаясь пока что к какой-либо из них присоединиться.

Недалеко от меня сидел профессор Раджафер. Его я вообще никогда раньше не видел, даже на фотографиях. Тёмные глаза, высокий лоб, коротко постриженные густые чёрные волосы. Мне трудно было сказать, таким ли себе его представлял до моего приезда в институт. Раджафер был весьма крупным специалистом в области, которой я занимался, не таким прославившимся, как молодой профессор Варанг, к которому я сейчас приехал, но всё же тоже весьма известным и серьёзным. Меня достаточно сильно интересовало то, чем он занимается, хотя я точно не знал, чем именно он занимался в самое последнее время. Узнать это было непросто, потому что у него была не так уж часто встречающаяся в математическом мире странность — он почти никогда не записывал свои результаты. Менее известные математики этого вообще, конечно, не могли себе позволить, по крайней мере, пока не получают постоянную работу: не будешь писать достаточного количества статей, работы тебе, понятное дело, не видать. Но даже и более крупные учёные редко так поступали. Раджаферу отчасти везло, многие из его неопубликованных результатов потом всё-таки записывались другими математиками, и — особое везение — даже его авторство при этом часто не забывалось. Но всё же, как это ни было обидно, думаю, некоторые из его теорем так и оставались навсегда непонятыми и незаписанными.

Ещё до приезда в институт я был наслышан о том, что Раджафер был вообще большим чудачком, но сейчас, глядя на него, мне показалось, что часть этих рассказов была несколько преувеличена.

У него действительно была некоторая чудаковатость — он всё время был несколько задумчивым и отрешённым, и ещё он говорил с заметным акцентом и у него была медлительная и певучая речь — но, что касается этого последнего свойства, оно просто было данью той стране, в которой он когда-то родился.

То, что он говорил, и про математику, и не про математику, часто казалось мне достаточно разумным, это скорее окружающие реагировали так, будто бы то, что он сказал, всё время было очень смешным, и от этого он действительно иногда казался немного странным.

Например, после основной еды подали сыр, и не какой-нибудь, а французский, нескольких разных сортов, большинство из которых я никогда раньше не пробовал. Один из сыров назывался ми-шевр.

— Что значит шевр? — как всегда немного задумчиво спросил Раджафер у своих соседей по столу, и какой-то французский молодой человек ответил:

— Шевр по-французски означает козу.

— А правда, что сыр этот называется ми-шевр потому, — продолжил своим низким, растягивающим каждое слово голосом Раджафер, — что делают его наполовину из козьего, наполовину из коровьего молока?

Ещё прежде, чем он закончил свой вопрос, вокруг него раздался дружный громкий смех.

— Раджафер тут спрашивает, — объяснил сидящим дальше и не слышавшим предыдущего разговора людям профессор Франклин, — Раджафер тут спрашивает, правда ли сыр ми-шевр так называется потому, что его делают из молока животного, которое наполовину коза, наполовину корова?

И дальний конец стола тоже присоединился к всеобщему смеху.

К концу еды разговоры за столом стали менее математическими и более светскими. Сидящий справа от меня профессор поинтересовался, из какой я страны и чем я занимаюсь.

— Сейчас я приехал из Корнелла, но вообще я из Греции и учился до этого в Афинах...

— Из Афин? — воскликнула сидящая неподалёку от нас молодая женщина. — Прошлым летом мы были в Греции, и мне там ужасно понравилось. В Афинах мне очень понравился акрополь, и особенно кариатиды на храме Эрехтейон.

— Кариатиды — это как атланты, но только женщины? — уточнил сидящий напротив неё молодой японский математик.

— Атланты — это ведь люди, держащие здание на своих плечах, — задумчиво подхватил его вопрос Раджафер. — А как они называются, если, наоборот, они стоят на плечах, а свод здания подпирают своими пятками?

Тут снова все засмеялись, и, как должен был я это признать, на этот раз не без основания.

После сыра был кофе и пирожки с рябиновым вареньем. Подливая себе в чашку с кофе немного молока из фарфорового кувшина, на котором было нарисовано множество крошечных разноцветных бабочек, молчавший до этого Алан Фифтифулз произнёс:

— Недавно я где-то слышал, что есть такая порода бабочек: всю жизнь они летят от самого южного края Южной Америки до Аляски, и потом обратно: через всю Северную Америку обратно в сторону Южной. В течение пути в один конец сменяется три поколения бабочек. Это значит, что у бабочек есть генетическая память, говорящая им, в какую сторону надо лететь. Удивительно, как можно это помнить: до цели предстоит долететь не тебе, а только твоим детям или внукам, но ты точно знаешь, в какую сторону надо лететь, а твои внуки, в свою очередь, долетев до самого края Северной или Южной Америки, будут точно знать, что пора повернуть, чтобы продолжить это бесконечное путешествие над обоими американскими континентами...

Через окна столовой было видно, как на улице падает снег.

Во второй половине дня, ближе к вечеру, я решил сходить в библиотеку. То, что она всегда была открыта, оказалось правдой. Дверь не только была не заперта, а просто распахнута настежь, и я поэтому без труда попал в первый библиотечный зал. В этом первом помещении находились журналы. Я был несколько разочарован их выбором — некоторых неплохих журналов, которые обычно бывали в университетских библиотеках, здесь не было. В глубине зала я увидел ведущую вниз лестницу. Возможно, некоторые журналы находятся в другом помещении? Но нет, спустившись по лестнице я попал в зал, в котором находились уже не журналы, а книги.

Так что бюллетень Американского математического общества, в котором недавно был опубликован некий небезынтересный для меня обзор, мне так и не удалось найти. Я вспомнил, что секретарша объясняла мне, что я так же имею право записаться в библиотеку университета, который находился не очень далеко от института. «Можно будет сходить в неё после Нового года», — сказал я сам себе и принялся разглядывать книги.

Выбор книг тоже был небольшим, но среди них попадались некоторые интересные и довольно редкие издания. Я полистал несколько книжек на русском языке — читать по-русски я не умел, но меня всегда радовала похожесть русских букв на родные для меня греческие буквы. К тому же, рассматривая одну из русских книг по геометрии я был вознаграждён за своё любопытство, потому что в конце неё оказалась подборка очень забавных математических картинок.

Из помещения с книгами можно было ещё дальше вниз спуститься по лестнице, что я и сделал. Я оказался в третьем, возможно несколько подсобном библиотечном помещении. Отчасти на полках, отчасти запакованные в коробки в нём находились очень старые журналы: те же наименования, что я уже видел в зале наверху, но только выпуски пятидесятых или шестидесятых годов, а также некоторые книги. В отличие от предыдущего книжного зала книги здесь были расставлены без всякого видимого порядка: во всяком случае он не был ни алфавитным, ни тематическим, а некоторые вообще лежали кое-как неровными стопками на небольших столиках или ящиках с журналами. Я заметил, что на многих из них отсутствовали карманчики для читательских формуляров. Но всё равно я ещё не был записан в библиотеку, так что книги домой брать не мог, и поэтому для меня это не имело большого значения.

Я перебирал старые журналы, уже не из математического, а чисто исторического интереса. В одном из ящиков, содержащем очень старые выпуски журнала Крелля я наткнулся на толстенный препринт. Вначале я подумал, что это книжка, потому что он был слегка переплетён, иначе бы его было трудно взять в руки, так как в нём было около тысячи страниц. Но открыв его, я увидел, что это был препринт какой-то статьи профессора Раджафера. Судя по состоянию бумаги он был достаточно старым, и напечатан был не на компьютере, а на пишущей машинке. Но насколько мне было известно эта статья, называвшаяся «О нулях некоторых дзета-функций» так никогда и не была опубликована. Конечно, в печатной версии название могло бы измениться, но я был уверен, что у Раджафера не было напечатанных статей такой большой длины.

«Странно, что я даже никогда не слышал об этой его работе», — сказал я сам себе, и принялся за чтение препринта. Вообще-то мне не стоило слишком долго задерживаться в библиотеке и уже наверное было пора пойти искать институтский городок, я так и не был ещё сегодня в квартире, в которой мне предстояло жить. Но препринт Раджафера был действительно очень интересным, так что я решил полчаса его почитать, и только потом, забрав из кабинета до сих пор хранящийся там багаж, пойти искать место моего будущего обитания.

Статья Раджафера оказалась чрезвычайно содержательной, но довольно сложной для понимания. Первые страницы я прочёл внимательно, вникая в детали всего происходящего, но достаточно быстро смысл её начал от меня ускользать, и вскоре я уже не читал, а просто листал страницу за страницей, уже почти не глядя на доказательства, стараясь понять только отдельные предложения или замечания.

Иногда я рассматривал формулы, и хотя уже плохо их понимал, у меня было ощущение, что при взгляде на них у меня в голове что-то начинало шевелиться. Потом, завтра или после Нового года, я постараюсь прочесть статью более внимательно — хотя не так то просто прочесть хоть сколько-нибудь внимательно статью длинную в тысячу страниц! Может, когда я уже более серьёзно буду читать эту статью, мне поможет сегодняшнее, первое и ещё малоосмысленное от неё впечатление. . .

Скользя глазами по формулам я заметил некоторую особенность обозначений, выбранных Раджафером: он очень часто использовал греческие буквы. Так как статья была про дзета-функции, совершенно естественно, что в ней было полно букв ζ . Но, к тому же, не только буква π , как всегда, обозначала половину длины окружности единичного радиуса, не только ε часто использовалась для обозначения различных малых величин, не только не редко встречающиеся в математике α и β тут и там употреблялись во всевозможных контекстах, но в статье было полно и других, реже встречающихся в математических текстах букв, казалось, весь греческий алфавит был в ней задействован! Вот, например, в следующей формуле почти все символы были греческими:

$$\prod_j (\alpha_j - \lambda \tau_o).$$

Я уже плохо помнил что именно было обозначено при помощи буквы λ , но зато, выкинув из формулы инородную латинскую j , я обнаружил, что оставшиеся символы складываются в написанное с заглавной буквы греческое слово $\pi\alpha\lambda\tau\omicron$. «Смешно, — подумал я, — не получится ли что-нибудь подобное с какой-нибудь другой формулой?» Во многих формулах было слишком много латинский символов, но вот страницей раньше

от встретившегося мне слова «пальто» я обнаружил ещё одну длинную формулу, где все обозначения, кроме стандартного обозначения для функции логарифма, были греческими:

$$\log(\alpha - \pi_o) + \beta_\alpha(\theta - \rho_\alpha).$$

Такое длинное слово *αποβαθρα* уже точно не могло быть просто случайностью. «Аповатра» по-гречески означало «набережная», откуда могло взяться это слово в формуле этого препринта про нули дзета-функций? Я стал разглядывать другие формулы, во многих из них не все обозначения были греческими, но я обнаружил, что если из формул выкинуть все негреческие символы, то оставшиеся буквы не просто складываются в слова, а даже в слитный текст! Вот что я сумел в итоге прочитать.

1.2. Греческий текст

Набережная Кортееговки была пустынной. Может быть оттого, что только что прошёл дождь. Он и сейчас не совсем ещё закончился, время от времени падали отдельные капли, и небо было затянуто густыми серыми тучами.

Гвенаэль хотел сесть на скамейку около реки, но она была очень мокрой. Он стал оглядываться по сторонам — нет ли где поблизости скамейки посуше, и увидел идущую по набережной женщину.

«Альсбета!» — его мгновенно пронзило это странное чувство узнавания, похожее на сильную радость и на резкую боль одновременно, но уже секундой позже он понял, что ошибся — женщина была ниже ростом, и волосы у неё были более тёмными, так что даже издали было ясно, что это была не Альсбета. Просто одета она была в осеннее пальто в крупную серую клетку — точно такое же, как было у Альсбеты.

Вообще, с этими серыми клетчатыми пальто было сплошное мучение: этот серый клетчатый драп был недорогим, но достаточно модным, и огромное количество девушек ходили вот в таких серых демисезонных пальто, и почти каждый раз, увидев его, Гвенаэль вздрагивал и тут же мучительно разочаровывался, если это была не та, которую он так хотел увидеть. Странно, что хотя ошибка эта повторялась довольно часто, пронзительное ощущение, говорившее ему каждый раз: «Альсбета» ничуть от этого не притуплялось.

Сухую скамейку ему так и не удалось найти, но зато около закрытой в это время года лодочной станции он обнаружил навес, стал под него и стал разглядывать немного мутную из-за дождя воду Кортееговки. Если бы вода была немного более прозрачной, то наверняка можно было бы разглядеть живущих в ней разноцветных рыбок, но сегодня их не было видно.

Гвенаэль задумчиво пошарил у себя в кармане, вынул небольшой кубик кускового сахара, развернул его и положил себе в рот. И тут же понял, что сделал глупость: мучившая его с утра зубная боль, до этого почти утихшая, тут же возобновилась с новой силой. Он выплюнул сахар, но зуб продолжал неприятно ныть. Эта боль не самая сильная боль, её вполне можно было терпеть, но всё-таки достаточно противная.

Чтобы отвлечься, он стал размышлять о разных вещах: о прочитанном им недавно романе Омера, о своём незаконченном романе, о предстоящей сегодня встрече со старшим Филипоном. Ещё он думал о том, что вечером надо будет зайти к принцессе, что он не видел её со вчерашнего утра, и что это ужасно долго. Правда, думать об Альсбете сквозь зубную боль ему не нравилось, но он всё равно думал: о том, как надо поскорее разделаться с Филипоном, вернуться домой, написать пару глав своего нового романа, и после этого, наконец, можно будет к ней пойти.

И тут его взгляд, задумчиво скользя по поверхности реки, наткнулся на солнечного зайчика. Яркое солнечное пятнышко сделало несколько прыжков по воде, выскочило на набережную и стало метаться взад вперёд по мокрой мостовой, между лодочной станцией, около которой стоял Гвенаэль, и Большим Горбатым мостом.

«Странно, откуда он взялся? — подумал Гвенаэль. — Ведь солнца совсем не видно!»

Он оглядел небо, оно по-прежнему было серым, солнце даже и не думало проглядывать. Он опустил глаза на мостовую: солнечный зайчик был по-прежнему тут как тут. Потом, через несколько мгновений, ему надоело скакать на одном и том же месте, и он стал удаляться от Гвенаэля, попрыгал некоторое время по ступенькам лестницы, ведущей к аптеке, и потом куда-то скрылся.

«Аптека, — сказал сам себе Гвенаэль. — Наверное, стоит в неё зайти и попросить какое-нибудь средство от зубной боли».

Он не торопясь пошёл вдоль реки, проделал тот путь, который только что совершил до него солнечный зайчик, и стал подниматься по лестнице: две ступеньки, три ступеньки побольше, поворот, ещё пять ступенек, ещё поворот и ещё семь мокрых от дождя и очень скользких сегодня ступенек. На крылечке, прямо в центре выложенного лазурным песчаником правильного семнадцатигульника, поблёскивала небольшая лужа.

Стараясь не наступить в неё и не промочить и без того уже довольно мокрые ботинки, Гвенаэль толкнул обитую тёмным деревом дверь и вошёл в здание аптеки.

Ещё из прихожей он услышал, что он не единственный посетитель, и, войдя в главный аптечный зал, увидел аптекаря, разговаривающего с какой-то невысокого роста дамой, полненькой, почти что кругленькой, одетой в довольно смешное ярко-зелёное пальто. На голове у дамы была зелёная шляпка, украшенная большими разноцветными перьями.

По всей видимости, разговаривали они уже довольно давно, перед посетительницей уже стояла целая груда коробочек со всевозможными снадобьями, она совсем было собралась уже за них заплатить и уйти, но тут вспомнила ещё об одном деле.

— Самое главное чуть не забыла, — сказала она аптекарю, и тот в ответ с любопытством завращал своими большими немного выпуклыми глазами. У него было такое свойство: он очень любил болтать, но по долгу службы ему приходилось не только самому что-нибудь рассказывать, но и выслушивать своих посетителей. В те минуты, когда надо было слушать, и, сдерживаясь, самому ничего не говорить, у него всегда от напряжения начинали вращаться глаза. Впрочем, когда он что-либо рассказывал, глаза у него обычно вращались с ещё в два раза большей скоростью.

— Самое главное чуть не забыла, — сказала дама в зелёной шляпке. — Ещё мне обязательно нужно купить лекарство для моего старшего сына. У него эта новая, непонятная болезнь, вы знаете, говорят, что не опасная, но всё-таки я очень волнуюсь...

«Начинается, — подумал про себя Гвенаэль. — Так она вообще никогда отсюда не уйдёт. А мне нужна всего только одна микстура от зубной боли! Не факт, конечно, что она поможет, но всё-таки так хотелось бы, чтобы помогла».

Пока дама продолжала описывать странную болезнь, которой, по её мнению, страдал её старший сын, Гвенаэль от нечего делать рассматривал аптечные полки: почти все стены, от пола до потолка, были заставлены большими фарфоровыми банками с разноцветными надписями: шалфей, лаванда, корни подорожника. Многие надписи были сделаны на латыни, и часть названий была совсем незнакома Гвенаэлю.

— Знаете, — говорила тем временем посетительница, — он почти всё время задумчивый и мечтательный. Часто засыпает, и сразу ясно, что это необычный сон — бывает, даже посередине дня, задумается над раскрытой книгой или чашкой недопитого чая, и вдруг как будто бы начинает дремать, но вид у него при этом такой, как будто он не просто дремлет, как будто бы он не здесь, а где-то совсем в другом месте, далеко-далеко отсюда.

— Ясное дело, это сонная меланхолия, — не выдержав, аптекарь не слишком учтиво перебил рассказ толстенькой дамы в зелёной шляпке.

— Да, я от соседок уже слышала это название, — подтвердила посетительница. — Говорят, что это не опасно, но я очень, очень беспокоюсь. Вы уж посоветуйте что-нибудь по-настоящему помогающее. Никакие слабые средства, вроде ромашки или корня подорожника, вы мне не предлагайте, дайте мне сразу что-нибудь действительно серьёзное, порошок из толчёной мумии, или что вам там виднее будет... Неважно, если лекарство будет дорогим, ради родного сына чего только не сделаешь! Так что ничего, если лекарство дорогое, в определённых пределах, я имею в виду.

— Да вы не беспокойтесь, сонная меланхолия — это сущий пустяк! — сказал аптекарь, вращая глазами и одновременно шевеля своими большими красноватыми ушами. Он знал, что некоторые посетители, особенно если они видят его впервые, могут побаиваться выражения его быстро вращающихся глаз. С глазами он ничего не мог поделать, поэтому в таких случаях он старался успокоительно шевелить ушами, зная, что это обычно помогает.

— Сонная меланхолия абсолютно не опасна, это вам совершенно верно рассказали ваши соседки. Её можно вообще не лечить. Но если вам так спокойней будет, то дайте вашему сыну вот этот порошок. Желательно его принимать два раза в день, утром и перед сном.

Аптекарь протянул даме небольшую коробочку, приговаривая:

— Видите, у меня этого порошка несколько коробочек уже заготовлено заранее, сонной меланхолии последнее время очень много случаев появилось, особенно среди молодёжи. Но вы не переживайте, давайте вашему сыну по пол-ложки порошка утром и вечером. И пусть его запивает хорошенько, желательно чем-нибудь сладким, потому что порошок горький и довольно противный на вкус...

Дама, наконец, расплатилась за все купленные ей снадобья, и, покачивая разноцветными перьями на своей зелёной шляпке, удалилась.

— Только бы помогло лекарство, — доносилось уже из прихожей её обеспокоенное бормотание. — А то заснёт, или просто задремлет, и сразу ясно, что он не здесь, а где-то очень далеко...

— Здравствуйте, давно вас не видел, — сказал аптекарь и энергично пожал протянутую ему Гвенаэлем руку. — Чем могу вам служить?

— Есть у вас что-нибудь от зубной боли? — спросил Гвенаэль. — А то что-то один из зубов не даёт мне покоя, и вчера болел, и утром сегодня, сейчас, правда, немного полегче стало...

Аптекарь взял приставную деревянную лесенку, и полез доставать одну из фарфоровых банок, стоящую на верхней полке, почти под самым потолком.

— Помощника моего нет на этой неделе, приходится самому всё делать, — сказал он Гвенаэлю, при этом белая аптекарская шапочка слетела с его головы, обнажив большой и абсолютно лысый череп. Он спустился, неловко держа под мышкой цветную фарфоровую банку, и уже только внизу её открыл.

В банке оказались какие-то неровные маленькие светлые шарики, он отсыпал их в приготовленную для Гвенаэля коробочку. Кажется, он так и не заметил пропажу своей белой шапочки, и Гвенаэль постеснялся указать ему на то, что она лежит на полу около приставной деревянной лестницы.

Улыбаясь, он сказал аптекарю: «До свидания».

— До свидания, — ответил аптекарь. — Не забывайте принимать лекарство каждый раз, когда зуб будет болеть. Только заболит — сразу съедайте два, три или даже четыре шарика! Можно сразу несколько съесть, они ведь совсем маленькие!

И он в знак прощания зашевелил своими большими красноватыми ушами.

До встречи с Филипоном у Гвенаэля оставалось ещё по крайней мере полтора часа. Их встреча была назначена в харчевне «Жирная похлёбка». Это было на самой окраине города, довольно далеко от старой аптеки, но идти туда было всё же ещё рано. Он перешёл по Большому Горбатому мосту через Кортееговку и стал бродить по городу, чтобы как-то убить остававшееся время.

Для начала он зашёл в Кошачий переулок. В путеводителях по городу было написано, что назван он Кошачьим потому, что был таким узким, что в старые времена кошки любили прыгать с крыш домов на одной его стороне на крыши домов на другой. На самом деле так было не только в старые времена, но и ещё совсем недавно. Только вот после прихода к власти императора Р. ле Кина и его приказе об отлове кошек они моментально отовсюду исчезли, даже здесь, в Кошачьем переулке, ни одной теперь кошки не увидишь больше.

Не только сам переулок был узким, но и дома, на нём стоящие, тоже были узкими шириной в два—три окна, не больше. Зато некоторые были довольно высоким, в пять или шесть этажей. Для этого города, где многие дома были двух или трёхэтажными, даже четыре или пять этажей это не так уж мало.

Проходя мимо дома номер 53, Гвенаэль невольно остановился и поднял глаза. Где-то здесь, под самой крышей этого дома, жил Омер — красавец, любимец женщин, и, главное, самый читаемый из современных писателей.

Последнее обстоятельство не могло не вызывать зависти у Гвенаэля. Вообще-то, ему не на что было жаловаться. То, что будучи таким молодым, он успел опубликовать уже несколько книжек, уже само по себе было достаточно большим успехом. И его читали, да, он был уверен, что его читали. Более того, один небезызвестный литературный критик недавно крайне лестно отозвался о его стиле. Пожалуй, когда Омеру было столько же лет, сколько было сейчас Гвенаэлю, его вообще никто ещё не знал!

Но всё это мало утешало молодого писателя. Ведь Омера читают все, абсолютно все, и почти все им ужасно восхищаются! Даже Альсбета!

Конечно, что касается Альсбеты, дело отчасти было в том, что Альсбету с Омером связывала давняя и не совсем обычная дружба. Когда она была ребёнком, Омер был назначен её опекуном. Сейчас, когда принцесса стала взрослой, это не имело большого значения, да и король, когда-то издавший указ об опекунстве принцессы, теперь, после прихода к власти императора Р. ле Кина, находился в далёком изгнании. Говорили, что он живёт теперь на мысе Странных аттракторов, а может быть, даже и ещё дальше, где-то на одном из островов опасного для проходящих через него кораблей Новобермудского тропического треугольника...

«Всё-таки раньше было веселей, когда кошки прыгали здесь над головой с одной стороны переулка на другую», — подумал Гвенаэль и спустился к площади, на которой стояла городская ратуша.

«Ещё больше часа до встречи с Филипоном в „Жирной похлёбке“», — сказал он сам себе, глядя на большие круглые часы на ратушной башне. Надо ещё где-нибудь побродить немного.

Неподалёку от площади начиналась Безымянная улица, та самая, на которой жила принцесса. Обычно, стоило Гвенаэлю оказаться в этой части города, как ноги сами собой вели его к её дому.

Так были и в этот раз. Он уже свернул на Безымянную улицу, уже увидел на немного возвышающемся над соседними улицами холме знакомый двухэтажный дом — тот самый дом, крыльцо которого подпирает стоящий на плечах деревянный человечек. Но тут, вопреки обыкновению, он не стал подходить к дому Альсбеты и свернул в один из пересекающих Безымянную улицу переулков.

Его мучили угрызения совести. Принцесса наверняка расстроилась бы, узнай она о его предстоящей встрече с Филипоном в харчевне «Жирная похлёбка». Ей вообще не нравится общение Гвенаэля с людьми, имеющими отношение к новой императорской власти.

Ему и самому больше нравился старый король, чем пришедший к власти путём государственного переворота генерал Р. ле Кин, называемый теперь императором Р. ле Кином. Впрочем, самого императора он почти не знал, и ему любопытно было узнать его получше — может быть, он и не был таким плохим, как многие это считали.

— Поскорее бы покончить с этой встречей в «Жирной похлёбке», и выбросить её из головы! И, главное, не проболтаться потом принцессе о том, что я встречался со старшим Филипоном!

И дело было не только в том, что Филипон имел какую-то, не совсем самому Гвенаэлю понятную, связь с окружением нового императора. С Филипоном вообще была отдельная история. Ходили слухи, что и он, и его возничий Филипон Второй младший — людоеды. Это, конечно, было совершенном вздором! Правдой было то, что жили они на далёкой окраине города, в полуразрушенном грязноватом пригороде. Когда-то, когда принцесса была ещё совсем маленькой, её родители пропали без вести. Последний раз их видели перед тем, когда их карета свернула поздним вечером в сторону улицы, на которой жили два Филипона. Но, безусловно, абсолютно абсурдно было бы считать, что родители Альсбеты были действительно ими съедены!

Во всё это Гвенаэль верил вполне искренне, но всё же совесть его была нечиста.

— Черт, я уже думал, что лечебные шарики помогли! Но зуб снова стал болеть, даже ещё сильнее, чем

раньше, — воскликнул он сердито, и едва не споткнувшись о валявшееся на дороге колесо, свернул на Большую Торговую улицу. Он прошёл мимо ювелирного магазина, мимо фарфоровой лавки и магазина зеркал, задержался минутку около витрины часовщика, рассматривая большой круглый циферблат старинных часов, у которых минутная стрелка была отломана и оставалась только одна часовая.

Потом он свернул на улицу, где находились магазины попроще: мебельные и посудные лавки, магазины одежды и игрушек. Затем вышел на длинную-длинную и не очень прямую улицу, на которой почти все дома уже были жилыми, только изредка попадалась булочная или зелёная лавка. Когда эта длинная улица закончилась, Гвенаэль не совсем был уверен, куда ему дальше надо было идти. Филипон до этого достаточно подробно описал ему дорогу в «Жирную похлёбку», но переулки, по которым шёл Гвенаэль, были настолько похожи друг на друга, что он всё больше и больше сомневался в правильности выбранного им пути.

Он внимательно смотрел по сторонам, старясь хотя бы запомнить, куда он идёт, но повсюду были однообразные низкие дома, окружённые однообразными грязными двориками. Из одного такого двора выбежал и со стремительной скоростью бросился ему под ноги небольшой поросёнок.

Гвенаэль вскрикнул и побледнел, его лицо, и без того довольно серое в последние дни, стало ещё более серым и даже чуточку зелёным.

— Какой же я дурак, — сказал он сам себе, понемногу успокаиваясь. — Это поросёнок, обычный розовый поросёнок. Розовый, и вовсе не чёрный. Маленький симпатичный розовый поросёночек.

То, что поросёнок был розовым, было, пожалуй, некоторым преувеличением — он настолько был перемазан грязью, что его настоящий цвет было трудно определить. О его симпатичности тоже можно было поспорить: и глазки, и свиное рыльце казались довольно свирепыми. Но что правда, то правда — это был вполне обычный поросёнок, и по всей видимости он ничего общего не имел с чёрными свиньями, заполонившими последнее время все подходы к императорскому дворцу — ко дворцу, который раньше был королевским, и который теперь, когда в нём поселился Р. ле Кин, назывался императорским.

Всем, не только Гвенаэлю, не давала покоя недавняя история про чёрную свиную лихорадку.

Эта была очень тяжёлая болезнь, которой заразиться можно было только от чёрных свиней. Никто не знал, каким образом свиньи появились в городе, вернее, на окраине города, там, где стоял императорский дворец. Специально ли их привёл туда бывший генерал и нынешний император Р. ле Кин?

Жили они главным образом на холме, на котором стоял дворец, и сам Р. ле Кин, как и вся его гвардия, был по всей видимости иммунен к чёрной свинной лихорадке. Для всех же остальных войти во дворец стало теперь очень непросто. Впрочем, во время общественных приёмов свиней прогоняли от главного входа, так что приглашённые на императорские приёмы гости могли всё же войти во дворец, не рискуя заразиться этой малоизученной тяжёлой болезнью.

В конце концов оказалось, что Гвенаэль не так уж сильно отклонился от положенного пути. Ему удалось в итоге найти харчевню «Жирная похлёбка», о приближении к которой он догадался, услышав оживлённые и возможно несколько пьяные голоса. Улицы, по которым он шёл, были настолько тихими, что шум, доносящийся из «Жирной похлёбки», был слышен ещё за несколько кварталов до неё.

Он вошёл в довольно большое и плохо освещённое помещение харчевни и стал оглядываться по сторонам, ища глазами Филипона.

— Довольно странное заведение, — пробормотал он себе под нос. Он находился в большом зале, окружённом неровными деревянными стенами, с низко нависшим деревянным потолком. За большими деревянными столами, не покрытыми скатертями, сидели весьма подозрительного вида плохо одетые люди, одни из них пили из больших глиняных кружек, другие что-то ели из больших глиняных мисок.

— Хо-хо, вот и вы, наконец! — произнёс низкий и немного булькающий голос Филипона, и, обернувшись, Гвенаэль увидел и самого толстяка, сидящего за круглым деревянным столом и поедающего горячий, ещё дымящийся суп.

Гвенаэль поздоровался и присел за стол напротив Филипона. Время было обеденным, но глядя на мутный странный суп в большой миске, стоящей на столе перед Филипоном, Гвенаэль совершенно утратил желание есть. Он изо всех сил старался скрыть отвращение, возникающее у него при виде этой тёмной горячей жидкости, которую Филипон уплетал с огромным аппетитом — даже на бороде и усах у толстяка были капельки супа и небольшие кусочки плававшего в супе мяса — он ел настолько быстро, что у него не было времени утереть свой рот.

Гвенаэль извинился, сказал, что не голоден, и попросил подошедшего к ним хозяина харчевни сделать ему бутерброд с сыром.

— Бутерброд? — несколько насмешливо ответил хозяин. — Вообще-то, у нас здесь принято есть похлёбку, ей, собственно, и славится наше харчевня.

Но всё же он вскорости принёс заказанный Гвенаэлем бутерброд — пару толстых кусков козьего сыра, положенных в разломанную надвое серую и довольно чёрствую булку.

Гвенаэль приступил к еде и одновременно стал слушать то, что должен был сообщить ему Филипон.

— Дело моё касается материй, так сказать, литературных, хе-хе, — начал свой рассказ бородатый толстяк. — Это, конечно, неудивительно, так как вы являетесь автором преувлекательных, позволю себе это выражение,

сочинений ...

«Черт побери, к чему это он клонит? — подумал про себя Гвенаэль. — Ни за что не поверю, что он читал хотя бы одну из моих книжек. Вообще, сомневаюсь, что он в принципе что-то читает разве что газеты иногда может пролистывать ...»

Филипон же тем временем стал переходить к сути своего рассказа. Дело было в том, что по разным сообщениям ему был неугоден Омер, и он надеялся найти в Гвенаэле союзника для борьбы с этим заносчивым и чересчур популярным писателем. Должно быть, многие догадывались, что Гвенаэль очень завидует Омеру. К тому же, как намекнул Филипон, ему из очень секретных и достоверных источников было известно, что через несколько месяцев во дворце состоится церемония посвящения в придворные писатели, и что Омер был единственным представляющим для Гвенаэля опасность соперником.

Так, во всяком случае, считал Филипон. Увлёкшись своим рассказом он даже забыл про недоеденный суп, который остывал на дне стоящей у него перед носом большой глиняной миски. Время от времени толстяк вопросительно поглядывал на Гвенаэля, но тот молчал и колебался. Не то что бы он всерьёз рассматривал это предложение вступить в какой-то сомнительный заговор против Омера. Как бы он не недолюбливал его, как бы ему не завидовал, такого рода интриги были совершенно против его правил.

Но всё же, с другой стороны, титул придворного писателя был огромной честью. Это он только так назывался придворный писатель, само название мало о чём говорило. Это было звание, присуждаемое величайшим писателям, и церемонии посвящения проходили не чаще, чем раз в десять или пятнадцать лет. Неужели у Гвенаэля действительно был шанс получить этот почётный титул?

И, невольно краснея, молодой человек стал слушать дальше о подробностях придуманного Филипоном плана действий.

Для того, чтобы навлечь немилость на Омера, Филипон рассчитывал использовать пасквиль, якобы написанный Омером для осмеяния нового премьер-министра Пьерро, и в котором также фигурировал он сам, Филипон, под видом — кого бы вы думали — людоеда!

Гвенаэль всё ещё колебался некоторое время, но, вникнув внимательнее в детали рассказываемого Филипоном плана, сердито мотнул головой и уверенно сказал:

— Нет, Омер никак не может являться автором сочинения, о котором вы говорите!

— Почему же, — попытался возразить ему Филипон, теребя от волнения свою густую рыжую бороду. — У нас есть достаточно веские доказательства того, что ...

— Нет, этого не может быть! — снова перебил его Гвенаэль. — Я знаю книгу, о которой вы говорите. Она написана давным-давно. Её автор, Евгений Шварц, жил в совсем другой стране и умер за много лет до рождения нашего премьер-министра. Так что ни к нему, ни к вам, ни к Омеру вся эта история никакого отношения иметь не может!

Произнеся эту последнюю фразу, Гвенаэль попытался быстро дожевать свой бутерброд. Ему хотелось поскорее закончить этот нелепый разговор, уйти прочь и никогда больше не возвращаться в эту малоприветливую грязноватую харчевню под не слишком заманчивым названием «Жирная похлёбка».

Но, дожёвывая последний кусочек своего бутерброда, Гвенаэль едва не закричал от боли: его больной зуб наткнулся в сыре на что-то очень твёрдое. В их краях был такой обычай: в головки козьего сыра иногда клали ядрышко лесного ореха — считалось, что на счастье. Но то, что попытался разгрызть своим больным зубом Гвенаэль, было гораздо твёрже, чем орех. Он осторожно ощупал языком то, обо что он только что чуть не сломал свои зубы, потом выплюнул этот твёрдый острый предмет и окончательно убедился в своей догадке: это был не орех, а кусочек ореховой скорлупы.

Насколько мог припомнить Гвенаэль, в отличии от самих орехов, найденная в козьем сыре скорлупа ничего особо хорошего не предвещала.

1.3. Магазин экспериментальных продуктов. Разговор с профессором Раджафером

Константин проснулся рано утром и сонным взглядом обвёл малознакомую ему комнату. Кажется, это здесь он поселился вчера вечером — вон даже около письменного стола валяется его ещё нераспакованный рюкзак. Он встал с постели, подошёл к окну и выглянул в окно. Вокруг стояли маленькие избушки, крыши которых были покрыты тонким слоем снега. Дальше за избушками виднелись хвойные деревья, уже виденные им вчера полусосны-полудёлки, они тоже были припорошены снегом. А вот на земле снег уже совсем растаял, дорожки между избушками были судя по их виду покрыты какой-то тёмной слякотью.

Сами избушки были маленькими, одноэтажными — если не считать за второй этаж крошечные помещения, которые, должно быть, находились под сводом их треугольных крыш. Константин по всей видимости находился в доме побольше, потому что его окна были немножко выше соседних домов. Можно было, наверное, открыть окно и, выглянув из него, посмотреть, сколько этажей было в его доме, и на каком из них он сам находился, но

молодой человек поленился это сделать. На улице явно было довольно холодно, а в его комнате тепло и уютно, поэтому открывать окно, особенно не полностью ещё проснувшись, совершенно не хотелось.

Он стряхнул с себя последние остатки сна и после этого уже совершенно ясно вспомнил, что находится он в институте высших научных исследований, вернее, в маленькой деревеньке неподалёку от института, в которой жили все его посетители, а так же некоторые из профессоров. В комнату, в которой он ночевал, он поселился вчера уже поздно вечером, уставший после длинного дня, включавшего перелёт на самолёте и разнообразные впечатления от института. Поэтому, придя сюда вчера вечером, он почти что сразу заснул, даже не успев её оглядеть, но теперь, выспавшись, он с любопытством рассматривал квартиру, в которой ему предстояло жить ближайший месяц.

Его комната была маленькой, но уютной и очень чистой, должно быть, совсем недавно отремонтированной. Через небольшой коридор из неё можно было пройти в ещё более маленькую кухню. Было здорово, что в течение месяца он сможет пожить совсем один, в Корнелле он снимал квартиру вместе с ещё двумя студентами, и ему это нравилось, но пожить одному тоже было неплохо. К тому же, хотя и в Итаке его соседи редко этому мешали, здесь будет совсем хорошо заниматься дома математикой, никто и ничто не должно его здесь от этого отвлекать.

Но пока что было время позавтракать, и он стал оглядывать то, что находилось в его небольшой кухоньке. Плита, посудомоечная машина, холодильник — он открыл его дверцу и убедился в том, что холодильник было совершенно пуст. Вчера, пообедав в институте, он непредусмотрительно забыл о покупке еды. Даже спички он не подумал купить: в Корнелле он привык к электрической плите, а если и видел когда-либо газовые, то все они были с автоподжигом, здесь же плита была газовая и несколько старого образца, для того, чтобы её зажечь, кажется, требовались спички или зажигалка. Он не курил, поэтому зажигалки у него не было, но у него было какое-то неопределённое воспоминание, что спички он где-то недавно видел.

Он вернулся в комнату и только сейчас обнаружил стоящий на столе поднос, на котором находился большой коробок спичек, прозрачный целлофановый пакет сухарей, несколько пакетиков чая и растворимого кофе, три маленьких индивидуальных порции клубничного джема и несколько кубиков кускового сахара. Вполне достаточный набор для незамысловатого завтрака, если в день приезда посетитель института не успеет сходить в магазин или просто забудет это сделать, как это забыл вчера Константин.

Но молодой человек поборол соблазн позавтракать сухариками с джемом, и после этого пойти в институт. Всё-таки надо было наконец сходить в магазин, тем более что завтра в связи с Новым годом наверняка все магазины будут закрыты. К тому же после его странной болезни, похожей на Бери—Бери, врач настоятельно советовал ему хорошо питаться. И, вернее, для него было более существенным то, что он проболтался тогда об инструкциях врача своей маме, после чего она не оставляла его в покое, пока он не поклялся самыми торжественными клятвами, что отныне так и будет это делать: есть рыбу, мясо, овощи и фрукты, и не только не забывать обедать и ужинать, но и завтракать всегда толком: свежим хлебом, не забывая про масло и свежие сливки или молоко для кофе. Не то что бы он всегда следовал этим данным своей маме обещаниям, но всё же несколько следил теперь за тем, что он ел. Поэтому вместо того, чтобы ограничиться сухариком с чашечкой растворимого кофе, он решил пойти в булочную (кажется, по дороге из института домой он вчера проходил мимо неё) и купить к завтраку хлеб или свежие булочки, и заодно посмотреть, нет ли поблизости других магазинов. Хотя ему очень неохота было это делать, но на завтра точно надо было запастись едой, даже институтская столовая должна была завтра быть закрытой из-за Нового года. И даже всегдашнего пятичасового институтского чая завтра не предвиделось.

На лестнице Константин столкнулся с Младеном. Это был хорватский постдок, с которым он познакомился вчера в институте. Тот объяснил ему, что уже сегодня все обычные магазины закрыты, но есть маленький магазинчик неподалёку в университетском городке, он должен быть сегодня открыт.

— Только много еды там не купишь, — добавил Младен. — Он маленький и немного странный к тому же. Называется «Магазин экспериментальных продуктов».

— Как это экспериментальных? — поинтересовался Константин. — Мне хотя бы хлеба купить. Но я так понял, ты сказал, что все булочные тоже уже закрыты?

— Как раз хлеб там скорее всего можно будет купить. А экспериментальными продукты называются потому, что их изготавливают по новым, недавно разработанным в университете технологиям. Кстати, я подумал, что мне тоже неплохо кое-чего на завтра прикупить — хочешь, пойдём вместе, я покажу тебе дорогу?

Университет и университетский городок находились примерно в сорока минутах ходьбы от института. Единственный способ туда добраться — идти пешком. Если конечно, не считать за способ следующий вариант: доехать на метро до города и пересечь над другую ветку, ведущую в университет. Всё вместе это заняло бы не меньше двух часов, поэтому, понятное дело, обычно никто так не поступал.

— А как, собственно, получилось, что университет находится на другой ветке метро? — спросил через некоторое время Константин. — Очень ведь неудобно. Наверное, его построили когда метро уже было проложено, этот загородный кампус ведь, кажется, относительно недавний?

— Ты что, не знаешь эту замечательную историю? — спросил его в ответ Младен, ужасно довольный представившейся возможностью её кому-то рассказать. Такое случилось не часто, потому что даже новички, первый раз приезжающие в институт, обычно где-нибудь её уже слышали.

— Сразу же после постройки загородного университетского кампуса было решено провести туда линию метро, чтобы студенты могли спокойно ездить на лекции, — начал свой рассказ Младен, и глаза у него при этом почему-то хитровато поблёскивали. — Было бы логично, чтобы эта новая линия метро прошла бы и мимо института высших научных исследований, до которого до этого времени можно было добраться из города только на машине или автобусе, что, конечно, очень способствовало его научной уединённой атмосфере, но при этом всё же было крайне неудобно. Но мэр городка, на окраине которого построили университетский кампус и мэр деревушки, около которого находился институт, были членами двух враждующих политических партий. Поэтому мэр городка, желая навредить своему недругу, вступил в сговор с ректором университета, который в этот момент находился в ссоре с директором института, и совместными усилиями им удалось добиться того, что линию метро провели на максимально возможном расстоянии от института высших научных исследований. Узнав об этом решении, директор института расстроился, но решил не сдаваться. Прошло не меньше года до тех пор, пока ему не удалось мобилизовать имевшиеся у него в политических кругах связи, и к этому времени строительство идущей в университет ветки Юг—1 было почти завершено, её направление нельзя уже было изменить. Но директора и тут не стал сдаваться, и у него хватило энтузиазма и влияния для того, чтобы добиться строительства ещё одной, 25-ой ветки метро, ведущей в институт! В конечном счёте для города это оказалось не так уж и плохо: по двадцать третьей ветке метро в направлении Юг—1 можно было доехать до всех южных и юго-восточных пригородов, а двадцать пятая ветка метро (в направлении Юг—2), проходя институт высших научных исследований, заворачивала немного в западном направлении и доходила до многих юго-западных деревушек. Но вот для университета и института ситуация осталось довольно неудобной: до сих пор, институтским профессорам, желающим зайти на какую-нибудь лекцию в университет, или, наоборот, университетским студентам и профессорам, желающим посетить один из институтских семинаров, приходится ходить по этой длинной лесной тропинке, по которой мы с тобой сейчас идём, — закончил свой рассказ Младен.

Через некоторое время их тропа пересекла небольшой лесной ручей. Неподалёку от деревянного моста, по которому они его перешли, бултыхались в воде довольно крупные водяные крысы.

Деревья за ручьём довольно скоро из хвойных превратились в лиственные, и минут через пятнадцать ходьбы они оказались на окраине университетского кампуса.

— Обычно здесь оченьлюдно, — объяснил Младен. — Но сейчас, перед Новым годом, все занятия давно уже закончились, и студенты разъехались на каникулы...

Магазин экспериментальных продуктов оказался совсем крошечным. Его полки были заставлены в основном консервными банками, сделанными из какого-то нового типа жести.

— Осторожно, не нажимай на вот эту красную точку на крышке, когда их рассматриваешь, — предупредил Константин Младен. — Они сделаны по новой самооткрывающейся технологии, стоит нажать на эту красную точку, как они тут же откроются...

Константин хотел купить несколько стаканчиков супа из китайской лапши, но Младен его от этого отговорил.

— Китайскую лапшу лучше покупать в китайских магазинах или хотя бы в супермаркете около университета, — сказал он своему приятелю. — Подожди, через два дня после Нового года он должен уже открыться, а здесь вся лапша производится находящейся в университете фирмой «Brownian Loop», и суп из неё довольно своеобразный получается.

У Константина, напротив, вызвали опасения продававшиеся в этом магазине булочки. Они были довольно неказистыми на вид, неровной формы: отчасти пухленькие, отчасти плоские, но тут, наоборот, Младен за них вступился:

— Это как раз ужасно вкусный хлеб, очень специальная технология: его делают на дрожжах промежуточного роста, поэтому он получается такой странной формы. Но на вкус он очень интересный: нечто среднее между песочным и дрожжевым тестом, так словами не объяснишь. Я тебе советую купить их побольше, уверен, что тебе они должны понравиться.

Сделав необходимые на ближайшие дни покупки, друзья отправились в обратный путь: по той же лесной дорожке, через ручей, в сторону институтского городка. Купавшихся в ручье крыс теперь уже не было видно, зато они встретили двух ярко-рыжих белок, а на вершине одной из высоченных ёлко-сосен, стоящей у самого выхода из леса, сидела большая чёрная ворона.

Прощаясь с Младеном, Константин спросил у своего нового друга:

— Мне тут пришёл в голову такой вопрос: крысы, которых мы видели около ручья, это нутрии или просто обычные крысы?

— Не знаю, — ответил Младен. — У нутрий должен быть красивый мех, так что вроде не нутрии. С другой стороны они очень любят воду и почти всегда купаются в этом ручье. Даже сейчас зимой, когда вода в нём, должно быть, ледяная... Кстати о ручье. Знаешь, если честно, про метро есть более реалистичная версия. Этот ручей, хотя на вид небольшой, но почва под ним влажная до самой глубины, возможно именно из за этого под ним не удобно было прокладывать линию метро. Но все всегда любят рассказывать про ректора, директора и двух враждующих мэров...

Константин занёс свои покупки домой, позавтракал дрожжевыми булочками промежуточного роста, и пошёл в институт, чтобы продолжить чтение препринта Раджафера. Входя в здание института он столкнулся с

самим Раджафером. У Константина был некоторый вопрос, связанный с его недавно доказанной теоремой, про который тот мог кое-что знать, возможно, даже не хуже Варанга. Вчера за обедом, во время общего разговора, он не нашёл удобного момента, чтобы о нём заговорить. От Младена Константин знал, что у Раджафера бывает два разных состояния — когда он здоровается со знакомыми и когда он не здоровается, вероятно их не замечая. Сегодня он, должно быть, был в первом из двух состояний — даже на приветствие мало знакомого ему Константина он вполне отчётливо ответил, и молодой человек решил, что это хороший знак и что можно прямо сейчас задать ему свой вопрос.

Выслушав Константина, Раджафер задумался, потом глаза его на мгновение вспыхнули, после этого он задумался ещё глубже, и глаза его стали непроницаемыми. У Константина возникло странное ощущение, как будто бы тот находился где-то не здесь: вот тело его тут, но тёмная непроницаемая стена в его глазах как будто бы закрывала и глаза, и его самого. Из-за этого странного ощущения он не мог сказать, как долго размышлял Раджафер: минуту, несколько минут или дольше. Казалось, что время для Раджафера остановилось, и в какой-то момент Константин засомневался, думает ли тот действительно над заданным вопросом, или, может быть, вообще про него забыл.

Но Раджафер закрыл на мгновение глаза, и когда он их открыл, они снова были ясными, закрывающая их непроницаемая преграда куда-то исчезла.

— Вы не корректно поставили ваш вопрос, — сказал он Константину. — Надо предполагать, что $K(A)$ не имеет нетривиальных морфизмов. Но если это предположить, то можно перейти к производной категории, после чего всё становится понятным . . .

Константин с восхищением слушал объяснения Раджафера. Он предполагал, что вопрос его не был очень сложным, но всё-таки до этого несколько дней о нём думал, а Раджаферу оказалось достаточно всего нескольких минут, чтобы во всём с ним связанным совершенно детально разобраться.

Закончив своё объяснение, Раджафер удалился по коридору в сторону флигеля, в котором находился его кабинет. Только после этого молодой человек спохватился и вспомнил, что забыл у него спросить про найденный вчера в библиотеке препринт о нулях дзета-функций. Ему было неловко теперь идти за Раджафером и снова его о чём-то спрашивать. Правда, ему хотелось узнать, каким образом тому удалось добиться того, что греческие буквы в формулах складываются в связный текст. Казалось бы, это должно было быть очень трудно, специально ли Раджафер так подбирал обозначения и порядок следования формул, или может быть всё получалось само собой? Впрочем, история с греческими буквами, чем больше он о ней думал, тем менее правдоподобной она ему казалась. Но по крайней мере само математическое содержание препринта его очень интересовало.

«Надо лучше понять то, что написано в этой статье, прежде чем спрашивать о ней у Раджафера», — решил Константин и пошёл в библиотеку.

Но на том месте, где он вчера его оставил, препринта сегодня не оказалось. Должно быть, кто-нибудь взял его почитать.

— Подожду пару дней, и если препринт не вернётся на своё место, спрошу о нём после праздников у библиотекаря, — сказал сам себе молодой человек. — А сейчас, Новый год уже совсем на носу, и есть другие вещи, помимо нулей дзета-функций, которыми пора уже в связи с этим заняться!

1.4. Письмо

Последний разговор с Альсбетой казался Гвенаэлю плохо запомнившимся дурным сном. Он не мог сказать, о чём именно они говорили. Кажется, он всё-таки не проболтался о своей встрече со старшим Филипоном, но, нервничая из-за боязни проболтаться, наговорил кучу всякой ерунды. Он помнил, что Альсбета под конец не на шутку рассердилась, а рассердить её было не так уж просто. Он пытался в ответ тоже обидеться и разозлиться, но у него это плохо получалось. Выплывавшие из памяти обрывки их разговора всё больше и больше убеждали его в том, что во всём виноват был именно он сам.

В общем, он почувствовал, что ужасно хочет помириться с принцессой. Что для этого сделать? Надо, конечно, перед ней извиниться, но он очень плохо умел это делать. Характер у него был гордый и несдержанный, и, начав извиняться, он мог вспылить и наговорить ещё больше нехороших глупостей.

Ему приходит в голову, что написать письмо проще, чем сказать лично всё то, что он хочет сказать. Он несколько раз садится за стол, начинает писать, но потом всё зачёркивает и выбрасывает, ходит большими шагами взад и вперёд по комнате, и снова садится писать.

В какой-то момент он даже думает — хотя обычно он никогда не разрешает себе об этом думать — что, может быть, правы те, кто, критикуя его романы, говорят, что в них много рассудительности и не хватает непосредственности. И язык, всегда безупречный грамматически, иногда кажется не достаточно живым.

Чтобы отвлечься от этих мыслей, он выходит из дома. Уже совсем темно, и на улице не видно прохожих. Обычно в это время можно встретить прогуливающиеся влюблённые пары, но сейчас и их не видать. Последние месяцы, после прихода к власти императора R. ле Кина, город стал мрачнее, и горожане скорее спешат после работы домой, и менее охотно выходят пройтись по вечерам.

Небо довольно ясное, и на севере хорошо видно Белую гору. Называется она так по тому, что животные и птицы, живущие на ней, белые или во всяком случае очень светлые. И даже когда смотришь издалека на пасущиеся на ней стада белых коз или стаи светло-золотистых огромных собак, то и сама гора кажется белой. Глядя на гору, Гвенаэль думал о том, что где-то там, в одной из горных деревушек живёт его троюродная тётушка. И что бывший премьер-министр Конфуций, ушедший в отставку при формировании нового правительства, тоже оттуда родом. Теперь его место в правительстве занимает министр Пьерро, который раньше был министром образования. Но он-то исконный горожанин и к Белой горе никакого отношения не имеет.

Самой тёмной и пустынной улицей из тех, по которым проходил Гвенаэль, была, пожалуй, Большая Торговая улица. На ней ведь не было почти жилых домов, поэтому даже светящегося окошка сейчас не увидишь. Даже нарядные витрины магазинов было не разглядеть: одни на ночь были закрыты ставнями, другие просто были слишком плохо освещены. Только вот старинные часы в окошке часовой лавки было неплохо видно, потому что на них падал свет от стоящего на перекрёстке фонаря и ещё, наверное, потому, что и цифры, расставленные кругом по желтоватому циферблату, и одинокая часовая стрелка этих часов были покрыты какой-то фосфоресцирующей краской. I, II, III и IIII были зеленоватыми, и IIII, записанная почему-то как IIII, а не как IV, занимала больше всего места и казалась от этого особенно яркой. Потом шли более блеклые V и VI, причём краска на палочке у VI была полустёрта, и от этого шестёрка была похожа на предшествующую ей пятёрку. VII, IXX и IX (восемь часов опять же были обозначены как IXX, а не как VIII) тоже были довольно блеклыми и сероватыми, а X, XI и XII, хотя и менее яркие, чем I, II и III, снова отсвечивали чем-то зеленоватым.

Гвенаэль немного помедлил на углу Большой Торговой улицы, потом пошёл дальше и свернул в один из отходящих неподалёку переулков. Он шёл без видимой цели, и, как это часто с ним бывало во время прогулок, очень скоро он вышел на Безымянную улицу. Вот уже и знакомый дом с деревянным атлантом вверх тор-машками. Проходя мимо него, у Гвенаэлю сжалось сердце: может быть, бросить эту затею с письмом, зайти и сказать самому всё то, что ему так хочется ей сказать? Но свет в доме Альсбеты уже погашен, значит она спит и заходить уже поздно, и Гвенаэль продолжает идти по тёмному городу.

Вот Кошачий переулок. Здесь он тоже уже был сегодня утром, когда в нём было немало прохожих, но теперь ночью никого не видно, и поэтому особенно грустно от того, что больше нет кошек. Раньше они и по ночам прыгали через узкий переулок, с крыши на крышу.

В окне у Омера свет не горит, но здесь-то можно быть почти уверенным, он не горит не потому, что Омер уже лёг спать, а, напротив, потому что он ещё не вернулся домой. Гвенаэль никогда не был в гостях у Омера, но он точно знает, что вот то окошко, слева и под самой крышей, это окно его комнаты. Ложится Омер всегда очень поздно, если бы он был у себя, то наверняка сейчас бы писал. И тогда в этом левом окне был бы виден его тёмный силуэт, склонившийся над освещённым настольной лампой письменным столом.

Наверное, там, около погашенной сейчас лампы и сейчас лежит рукопись его нового романа. Было бы чертовски интересно узнать, о чём он сейчас пишет. Ходили нелепые слухи, будто бы он изменил своему обычному стилю и начал недавно сочинять шуточную пьесу в стихах, и что вообще отныне он собирается писать исключительно силлабическим александрийским стихом, не то одиннадцати, не то двенадцатисложником. Это, наверняка, было полным вздором. Омер всегда был в центре внимания, особенно женского, и про него без конца сплетничали. Ещё не далее, чем в прошлые выходные Гвенаэлю по огромному секрету рассказали о том, что не исключено, что Омер — незаконнорождённый сын императора R. ле Кина. За неделю до этого он слышал версию о том, что, наоборот, у R. ле Кина есть незаконнорождённая дочка, на которой Омер вот-вот собирается жениться. Вариант про сына был особенно смешным, учитывая полное отсутствие какого-либо сходства между писателем и императором. Рассказы про пьесу в стихах наверняка были настолько же верными, как и все остальные, и всё же Гвенаэлю больше чем кому бы то ни было ещё хотелось узнать, о чём будет новая книга Омера. Дом напротив, на другой стороне кошачьего переулка, был ниже, чем дом Омера, его крыша находилась примерно на уровне его окна. Гвенаэлю приходит в голову забавная мысль, что кошки, гуляя по крыше этого дома, могли бы заглядывать в окно к Омеру и подглядывать, о чём он пишет, сидя за своим письменным столом. В смысле, они раньше, возможно, могли подглядывать. Теперь их и в правду нет совсем, даже здесь, где раньше их было видимо-невидимо.

Вроде и кошек нет, и прохожих почти не видно, но от чего-то сегодняшняя ночь полна непонятных звуков: где-то что-то стучит, где-то что-то шумит, скрипят крыши, и что-то шелестит, и что-то бормочет, и ещё какие-то звуки, похожие на ветер, и на вздох, и на неровное чьё-то дыхание ...

Гвенаэль возвращается к себе, и постепенно город становится тише. Поднимаясь по лестнице, он старается идти осторожно, чтобы ступени не скрипели под ногами, ведь все его соседи давно уже спят.

На следующий день с утренней почтой он отправит принцессе письмо следующего содержания.

Письмо Гвенаэля Альсбете

Когда я пытаюсь написать тебе или о тебе, Альсбета, я понимаю, что не умею писать. После того, как напишешь несколько книг, испишешь сотни, а может даже и тысячи страниц, кажется, что ты чему-то научился. Но в какой-то момент оказывается, что нет, это всё бесполезно, и ты так же беспомощен перед листом чистой

бумаги, как ребёнок, первый раз взявший в руку перо. И я уверен, что никто из читателей моих книг не узнал бы автора неловких и беспомощных строчек этого письма.

Мне бы хотелось написать тебе, Альсбета, о том, как ты красива, но я не нахожу нужных слов. Может быть, это оттого, что в твоей внешности есть, кажется, только две черты, соответствующие обычному представлению о женской красоте, и есть так много черт, этим обыденным представлениям не соответствующих!

Две черты, которые я упомянул, это твои белоснежные волосы и голубые глаза, такие большие и яркие, что их взгляд замечаешь, даже когда видишь тебя издали — об этом просто написать.

Но когда я пытаюсь подробнее описать твою внешность, слова становятся настолько бессмысленными, что, если им верить, можно подумать, что ты не так уж хороша собой — можно написать, например, что у тебя вытянутое лицо, крупные губы и большие белые уши — и получается чёрт-те знает что, судя по этим словам можно подумать, что ты дурнушка, в то время как любому мужчине достаточно одного мимолётного взгляда на тебя, чтобы заметить, как ты ослепительно красива!

А может быть оттого сложно описать твою красоту, что самое пленительное в твоём лице, это не застывшие его черты, а его выражение, порою быстро меняющееся и наполняющее очарованием не только глаза, не только твой рот, но и щёки, и лоб, и нос — да, даже ноздри твоего носа, которые всегда еле заметно вздрагивают, когда ты говоришь. Есть ещё сотни чёрточек твоего лица, которые я давно знаю наизусть — ямочка, которая появляется на твоей правой щеке, когда ты смеёшься, или то, как ты прикусываешь нижнюю губу, около левого уголка твоего рта, когда ты волнуешься или задумываешься — и уж конечно, я умею безошибочно узнавать твою походку. Иногда, даже сквозь городской шум, из-за поворота улицы, я слышу лёгкие шаги — стук, стук, стук — и я точно знаю, что это каблучки твоих туфель касаются неровной мостовой ...

Я до сих пор не знаю, догадываешься ли ты сама о том, как ты красива: иногда, когда я смотрю, с какой естественной непринуждённостью ты отвечаешь на улыбки встречаемых молодых людей, я думаю, что да, ты об этом знаешь. Но когда иной раз я вижу, как ты с застенчивой завистью смотришь на проходящих мимо придворных красоток, или когда ты поправляешь причёску, стараясь прикрыть волосами твои несколько большие, но, как я уже писал, очаровательные уши, когда, наконец, в дни праздников ты неуверенно разглаживаешь складки редко надеваемого нарядного платья — я снова думаю, что нет, ты не знаешь, насколько ты хороша собой, и мне хочется объяснить тебе, что ты так красива, что никакое платье это обстоятельство изменить не может уже, ни улучшить, ни ухудшить.

Да, мне всегда ужасно хотелось объяснить тебе, как ты красива, потому что мне кажется, что молодых девушек сознание собственной красоты обычно делает счастливыми, а мне так хочется, Альсбета, чтобы ты была счастлива, очень-очень-очень счастлива ...

1.5. Запись из тетрадки профессора Варанга

Среди людей, ожидающих на перекрёстке двух больших улиц зелёного сигнала светофора, стоял невысокого роста молодой человек, светловолосый, довольно худой, подчёркнуто скромно одетый: серые брюки, короткое тёмное пальто, очки в простой коричневой оправе, которая вышла из моды по крайней мере лет десять тому назад. Этот молодой человек был ни кто иной, как профессор Варанг.

Красный свет сегодня как-то особенно долго не хотел переключаться на зелёный. Варанг бросил взгляд на свои наручные часы, пытаясь понять, успевает ли он на ближайший поезд метро в направлении Юг—2. Видимо, он ещё успевал, в любом случае, машины неслись с такой скоростью, что переходить этот перекрёсток не по переходу в это время дня не было ни малейшей возможности.

Наконец, поток машин остановился, красный человечек в светофоре напротив погас, уступая место зелёному, и Варанг почти что бегом пересёк широкую улицу, обогнул стоящий на углу кинотеатр, миновал мексиканское кафе, детскую площадку, магазин спортивной обуви, и после этого немного замедлил шаг, считая, что теперь он уже точно не может опоздать.

Подходя к метро, он понял, что что-то сегодня было не так. У входа на станцию и на ближайшей автобусной остановке стояла огромная толпа. Часть людей пыталась втиснуться в подошедший автобус, но он и так уже был забит почти что до отказа.

Что случилось? Не работает метро? Забастовка? Но тогда, скорее всего, автобусы тоже бы не ходили. К тому же о забастовках обычно объявляют заранее, а он, вроде бы, ничего про это не слышал. И потом сейчас, в один из первых дней наступившего нового года время для них было не самое подходящее.

— Что случилось, метро не работает? — спросил Варанг у выходящих со станции людей. Была такая толкучка, что ему не сразу удалось привлечь к себе внимание, но в конце концов одна женщина ему ответила:

— Несчастный случай, поезда не ходят. Уже по крайней мере полчаса ...

— Совсем не ходят? По всем веткам?

— Да, да, всё движение совсем остановлено ...

Тут ему пришлось посторониться, чтобы вываливающиеся из метро люди его не раздавили.

«Обидно, если сегодня не удастся попасть в институт, — думал Варанг. — Ничего особенно важного на сегодняшний день не намечено, но я уже и так почти целую неделю там не был. И потом я обещал этому греческому

аспиранту, Димитриакису, что я сегодня с ним поговорю. Он, кажется, уже несколько дней находится в институте по моему приглашению».

Он решил узнать, нет ли надежды на то, что в ближайшее время движение возобновится. Правда, когда случилось что-либо непредвиденное, такого рода информацию бывало непросто получить. Он с огромным трудом протолкался через толпу у входа на станцию, и оказалось, что сделал он это не зря.

— Несчастный случай на 16-ой ветке, — громко объявил репродуктор. — Всё движение полностью остановлено на неопределённый срок. 9-ая ветка: поезда ходят, но с заметным опозданием. Движение по 25-ой ветке практически нормальное.

Так что с идущей в институт 25-ой веткой никаких проблем не предвиделось. Только вот пройти на нужную платформу было не очень просто: повсюду была изрядная сумятица, пассажиры нервно ходили туда-сюда по станции и внимательно прислушивались к голосу репродуктора, говорил он громко, но довольно неразборчиво:

— Несчастный случай на 16-ой ветке, всё движение по 16-ой ветке полностью остановлено . . .

Варанг, как и любой другой городской житель, отлично понимал, что «несчастный случай» на этом метрошном языке означает самоубийство.

В любом большом городе происходят они довольно часто, в среднем не реже, чем раз в день. Большинство из них остаются совершенно незамеченными, но вот такие, в метро, вызывают пару часов толкотни и неразберихи, прикрываемой тактичным эвфемизмом «несчастный случай». Будет немало людей, опоздавших на работу или на более или менее важные свидания, может быть, какой-нибудь ребёнок потеряет в суматохе свою любимую игрушку: куклу или плюшевого мишку, но через несколько часов поезда пойдут снова, и уже к вечеру почти всё забудется. Почти всё, кроме, разве что, потерянной любимой игрушки.

Размышляя о плюшевых мишках, несостоявшихся свиданиях и статистике самоубийств в больших городах, Варанг проталкивался сквозь недовольную хаотично двигающуюся толпу, и в конце концов ему удалось пройти на нужную ему двадцать пятую ветку. Оглядев платформу, он убедился в том, что народу на ней ничуть не больше чем обычно. Это было не особенно удивительно, так как пассажирам неработающей шестнадцатой ветки и плохо работающей девятой эта двадцать пятая ветка мало чем могла помочь. Во всяком случае поезда этого её направления, через несколько остановок выходящие из города и уходящие в лесопарк, в котором находился институт высших научных исследований.

Так что было неудивительно, что платформа, как обычно бывает в это время дня, была полупустой. Несколько человек, едущих на работу, несколько студентов, небольшая группа подростков, два или три туриста, любовная парочка: парень, засунувший руку в задний карман джинсов своей девушки. И ещё вот нищая старуха, просящая милостыню.

Это была довольно высокая грузная женщина, не то восточная, не то африканка, сказать было трудно, потому что вся она была обмотана пёстрыми цветастыми тряпками так, что даже лицо её было плохо видно. Не обращая внимание на весело щебечущих о чём-то школьников, она двигалась сейчас по платформе в сторону Варанга, двигалась медленным, но уверенным шагом, заранее держа перед собой вытянутую руку.

У Варанга был такой принцип: он давал деньги всем встречавшимся ему нищим. А может быть, дело было не в принципе, может быть, просто он был достаточно добрым и отзывчивым человеком — неясно. Как бы то ни было, он давал деньги всем категориям встречавшимся по улице или в метро нищим или бездомным: местным и иностранцам, женщинам и мужчинам, жалующимся на болезни старикам или потерявшим работу молодым людям. И даже тем молчаливым беженцам, кладущим перед тобой записочку с однообразным содержанием:

«Я осталась (или остался) без крова, у меня 2 (3, 4 или 5) детей, помогите мне, чтобы я смогла (смог) найти работу и прокормить свою семью. Да хранит вас бог, вас и ваших близких».

Количество детей обычно вставлялось от руки согласно ситуации: у людей постарше 3 или 4, у молодых 1 или 2, в остальном же это был один и тот же печатный текст, размноженный с помощью ксерокса и не менявшийся в течении многих лет. Неясно, для чего эти люди ходили по вагонам метро, им почти никогда никто ничего не давал. Было также не совсем понятно, откуда именно брались эти люди и насколько вообще им можно было помочь, но для Варанга не было исключений. Он считал нужным давать немного денег каждому, действительно каждому, кто попросит его помощи.

В правом кармане своих брюк он всегда носил для этой цели большое количество мелочи. Именно в правом, чтобы знать точно, где она лежит и не искать долго, когда понадобится — потому что его очень смущало, если окружающие замечали, что он старательно обшаривает свои карманы в поисках очередной монетки. Он испытывал в такие моменты чувство, похожее на стыд, хотя казалось бы никаких причин стыдиться у него не было.

Сейчас, как обычно, он стал доставать мелочь, и, как это нередко случалось, правило правого кармана не очень сильно ему помогало. Даже если мелочь и находилась, как ей это было положено, именно в этом правом кармане, это вовсе не означало, что там не было ничего другого. Сегодня, к примеру, там было немало бумажек, исписанных математическими формулами, старых трамвайных билетиков, фантиков и обёрточек от кускового сахара, который дают к кофе или чаю в кафе или в институтской столовой. Так что он довольно долго рылся в содержимом своего кармана, прежде чем ему удалось извлечь оттуда пару монеток.

Он собрался отдать их подходящей к нему старухе, но тут оказалось, что женщина не протягивала руку

за милостыней, а скорее указывала своей рукой в сторону Варанга, и когда он это наконец понял и удивлённо поднял на неё глаза, она не то закашлялась, не то засмеялась, из её гортани стали доноситься странные глухие звуки, и Варангу показалось, что сквозь этот смех или кашель она пробормотала:

— Вот идёт профессор математики, который в этом году прославится на весь мир, ха-ха-ха-ха-ха!

«Трудно было представить, чтобы старая незнакомая ему женщина в метро могла бы произнести эту странную фразу, просто невозможно себе это представить», — пытался убедить себя Варанг. И всё-таки ему было не по себе. Он быстро оглянулся по сторонам — никто другой не обратил на эту загадочную реплику никакого внимания. Что, впрочем, было неудивительно, так как разобрать её было довольно трудно, потому что говорила женщина с ужасным акцентом, а конец её фразы совсем потонул в её глухом и прерывистом кашле.

К счастью, в этот момент подошёл поезд метро. Варанг запрыгнул в него, стараясь больше не оборачиваться на остающуюся стоять на платформе нищенку, но даже в вагоне он всё ещё слышал у себе за спиной её глухой гортанный смех. И даже когда поезд уже отъехал от станции, в его ушах всё ещё звучали хриплые слова:

— Который прославится в следующем году на весь мир, хо-хо-хо, ха-ха-ха, хе-хе-хе!

Слова эти вызвали какое-то чувство в его груди, как будто там что-то сжималось и было немного больно, но в то же время сладостно и приятно. Он старался выкинуть их из головы, потому что они подтверждали одну важную и хорошую новость, которую он знал уже некоторое время, но о которой ему ещё не положено было знать. А раз ещё не было положено знать, то он старался из суеверных соображений о ней не думать, но фраза нищенки всплывала у него в сознании всё снова, и снова, против его воли:

— Вот идёт профессор математики Варанг, который прославится в этом году на весь мир!

Слова эти были, конечно, очень приятными, но Варанг не мог так же забыть и смех, следующий за ними — или, может быть, это всё-таки был только кашель?

Смех этот что-то напоминал, он не сразу вспомнил что, но когда вспомнил, чувство в его груди стало гораздо менее сладостным.

— Ах, да, Шекспир, — пробормотал Варанг себе под нос. Кашель старухи напомнил ему о его заветной детской мечте: стать великим писателем. Настолько замечательным и талантливым, чтобы все вокруг могли воскликнуть: по сравнению с произведениями Варанга даже Шекспир — это ерунда, сущая ерунда!

И если надежды Варанга прославиться своими математическими теоремами не были, пожалуй, необоснованными, то до того, чтобы стать великим писателем ему пока что было далеко, очень далеко . . .

Уже после того, как поезд метро скрылся в туннеле, Раджафер подошёл к краю платформы и подобрал клочок бумаги, который Варанг до этого уронил, ища в своём кармане мелочь для милостыни. Он всё это время был на станции и, оставаясь незамеченным Варангом, наблюдал сцену, произошедшую между ним и старухой. Впрочем, по его обычному задумчивому выражению лица трудно было сказать, действительно ли он до этого за ними наблюдал, или думал о чём-то своём. Так вот, когда поезд уехал, он подобрал скомканный тетрадный листочек, оброненный Варангом, повертел его некоторое время в руках, сел в подошедший очень скоро следующий поезд, и уже только в вагоне развернул и прочитал то, что было написано на листке. Зная Варанга, можно было ожидать, что на клочке бумаги будет какое-нибудь сложное вычисление. Но нет, листок был расчерчен надвое неровной вертикальной линией, слева и справа от которой находились имена или должности людей, а именно:

Директор	министр Пьерро
Профессор Кон Фу дзе	бывший премьер-министр
библиотекарь	аптекарь
??	Альсбета
Профессор Моррис	??

И далее шёл ещё целый десяток имён, причём слева большинство имён принадлежало людям, имеющим то или иное отношение к институту высших научных исследований, а часть имён справа были довольно странными.

Раджафер открыл свой портфель, достал из него плохо отточенный карандаш и, сам не зная для чего, заполнил недостающими именами встречающиеся в списке вопросительные знаки. После чего задумчиво покачал головой, сложил листок в несколько раз и спрятал его вместе с карандашом обратно в свой портфель.

1.6. Яблочные косточки и миндаль

— Сегодня будем готовить порошок от кашля, — сказал аптекарь своему помощнику, рыжему веснушчатому парню лет семнадцати или восемнадцати. Тот нехотя почесал свой вихрастый затылок и спросил:

— Порошок от кашля? Из тыквенных семечек? Мне кажется, ещё с прошлого года должно было кое-что остаться.

— Из тыквенных семечек? — возмутился аптекарь. — Где это видано чтобы порошок от кашля готовили из тыквенных семечек? Я знаю несколько неплохих рецептов, но ни в одном из них тыквенные семечки не участвуют. Да, да, есть несколько неплохих рецептов, но один из них я люблю больше всего. Достань-ка банку с

миндалём и банку с яблочными косточками, потом надо будет всё это хорошенько истолочь в пропорции два к одному. Толочь будешь в большой ступке, погода стоит холодная, и почти всё время идёт дождь: что-то мне подсказывает, что порошок от кашля нам понадобится в немалых количествах.

Помощник залез на приставную лесенку и стал искать нужные ему банки. На банке с миндалём так и было написано «миндаль» (красивыми фиолетовыми буквами по белой эмали), и он её довольно скоро нашёл, а вот на банке с яблочными косточками было написано «*semina mali*», что означает на латыни «семена яблок». Латынь помощник аптекаря знал плохо, и по ошибке попытался вначале достать банку с грушевыми косточками.

— Яблочные, яблочные косточки, а вовсе не грушевые! — немного сердито повторял аптекарь. — Грушевые косточки — неплохое средство от бессонницы, и от ревматизма иногда тоже помогают, но к кашлю они никакого отношения не имеют! Нам сегодня нужны яблочные косточки, именно яблочные — вон они там в той зеленоватой фарфоровой банке справа от тебя, на третьей сверху полке. Неужели не видишь?

Помощник аптекаря нашёл, наконец, нужную банку и удалился в прихожую, потому что именно там стояла большая каменная ступка, в которой ему предстояло мелко растолочь косточки и миндаль. А аптекарь стал смотреть в окно на крупные капли дождя, падающие время от времени в немного беспокойную все эти последние дни воду реки Кортегевовки.

* * *

Обычно к пятичасовому чаю подавалось печенье или шоколадные кексы, но сегодняшний день был почему-то особенным: сегодня к чаю были испечены два огромных пирога, один с яблоками, другой с миндалём.

Константин съел уже два куса яблочного пирога и кусок миндального, и, прислушиваясь к математическим и нематематическим разговорам в чайной комнате, мучительно пытался решить для себя следующий вопрос: прилично ли было съесть ещё один кусочек?

В углу комнаты висела доска, рядом с ней стояли два человека, Константину незнакомых, и один из них что-то писал на доске, приговаривая при этом:

— Если мы поверим на мгновение в функториальность, то кручения здесь быть не должно ... После редукции по модулю p наша формула принимает вид ...

— Можно ли сравнить вклад Шекспира в исследование любви со вкладом Александра Гротендика в алгебраическую геометрию? — спрашивал своего соседа один из профессоров, запивая маленькими глотками чая кусочек яблочного пирога.

— Погружая полученное многообразие в \mathbb{R}^5 и рассматривая его небольшую окрестность ... — говорил другой.

— Считаете ли вы, что в связи с последними событиями появилась надежда на улучшение ситуации в Судане? — спрашивал кого-то третий.

«Интересно, придёт ли сегодня Варанг на это пятичасовое чаепитие», — думал в это время Константин. За последние дни ему удалось уже два раза достаточно основательно поговорить с Варангом, основные имевшиеся у него вопросы он ему уже задал, но институтский чай был всегда наиболее благоприятной возможностью для небольшой математической беседы. Поэтому почти все посетители института старались его не пропускать, даже те из них, кто не особенно любили пить чай.

Но сегодня, несмотря на вкусные пироги, людей в чайной комнате было не так уж много.

«Если бы все присутствующие в институте пришли на сегодняшний чай, то каждому достался бы только один кусок яблочного пирога и один кусок миндального, или, может быть вообще всего только один кусок на выбор: того или другого. Но, принимая во внимание то обстоятельство, что время чаепития подходит к концу и что людей в чайной комнате по-прежнему немного, пожалуй, я вполне имею право на ещё один кусочек миндального пирога ...»

— Нормализуя, разделив на диаметр, и следя за кривизной при переходе к пределу, — говорил кто-то неподалёку от Константина.

— Визовая политика Соединённых Штатов по отношению к странам восточной Европы ...

— Оценивая L^p норму обратного оператора и предполагая неотрицательность второго собственного числа ...

«Нет, всё-таки пожалуй не очень удобно взять ещё один кусочек, — думал Константин. — Учитывая то, что я и так уже съел один миндальный и целых два яблочных».

Наверное, он весьма долго мог бы раздумывать на тему вышеупомянутого вопроса, но в этот момент его размышления были внезапно прерваны. Дверь чайной комнаты распахнулась, и весёлым и быстрым шагом в неё вошёл профессор Франклин, вслед за которым вбежала его собака, огромный и очень светлый, почти что белый, золотистый ретривер.

Франклин взял со стола кусок пирога, откусил от него немножко и кинул оставшуюся часть куска своей собаке. Та мигом его проглотила и довольно облизнулась.

— Понравилось? — спросил у неё Франклин. — Мне тоже показалось, что довольно вкусно ...

После чего — хоп-хоп-хоп — он стал кидать своей собаке кусок за куском, до тех пор пока на большом подносе для пирогов остались одни только аппетитные крошки.

Письмо, отправленное вчерашней почтой, должно было прийти сегодня утром. Даже если почтальон несколько замешкался, теперь уже она его точно должна была получить. Прочесть письмо — всего пара минут, но на всякий случай можно добавить ещё полчаса, вдруг принцесса была чем-то занята в тот момент, когда пришёл почтальон, или, может быть, что-то могло её отвлечь, пока она читала письмо.

— Нет, теперь она наверняка его уже прочла, — сказал сам себе Гвенаэль, глядя на большие часы на башне городской ратуши. Он быстрым шагом направился в сторону Безымянной улицы, и через несколько минут уже стоял перед домом № 28 — столь хорошо ему знакомым старым двухэтажным зданием, крылечко которого подпирали своими пятками делающий стойку на плечах деревянный человек.

Но перед входом он внезапно остановился.

— Чёрт побери, совершенно дурацкая была затея посылать это письмо. Можно подумать ты сразу не понимал, насколько она была дурацкой. Надо было просто прийти — причём желательно вчера, а не сегодня — и попросить у Альсбеты прощения, мы наверняка бы помирились.

Или даже после того, как я отправил письмо, можно было ведь прийти вчера вечером и попросить её не читать его, когда она его получит, просто извиниться и сказать, что я очень хочу помириться и больше никогда уже не ссориться.

Но теперь уже поздно об этом думать, теперь она не только получила, но и прочла уже письмо, наверняка уже прочла!

Гвенаэль поднялся наконец на крылечко, поддерживаемое деревянным перевёрнутым атлантом, и, робея, постучал во входную дверь.

Когда Альсбета была на втором этаже своего дома, она часто не слышала стука у входа. Но сегодня она не только была внизу, но, вероятно, уже ждала прихода Гвенаэля — не успел он опомниться, как дверь распахнулась, принцесса выбежала на крыльцо и бросилась к нему в объятия.

— Я так была тронута твоим письмом, Гвени! Мне даже сразу стало ужасно совестно из-за того, что я когда-либо могла на тебя сердиться. И знаешь, ты вот написал, что пишешь неловко, а мне казалось, что твоё письмо не хуже написано, чем любая из твоих книг. Даже, если честно, мне показалось, что оно написано гораздо лучше! Я понимаю, это глупости, моё мнение по этому вопросу очень уж необъективно! Всё дело в том, наверное, что я очень в тебя влюблена, и так приятно получать такие письма от кого-то, в кого ты очень влюблён. В общем, ты как мило всё написал, особенно про ямочку на щеке, я сама про неё толком не знала, но прочтя письмо, посмотрела в зеркало и заметила...

Произнося эти фразы, Альсбета прижималась лицом к груди Гвенаэля и не могла видеть выражения его лица. Её наверняка удивило бы, если бы она узнала, что всё это время лицо её жениха оставалось бледным и напряжённым.

Наконец он перестал хмуриться и улыбнулся: «Она простила меня за нашу ссору, главное, что она меня простила!» — и нежно провёл рукой по её белоснежным волосам. Она подняла голову и сказала:

— Я всё болтаю без умолку, а ты всё время молчишь чего-то? Ты какой-то очень серьёзный сегодня? Ты о чём-то думаешь? Мне не угадать по твоим глазам о чём...

— Нет, нет, ни о чём я не думаю. То есть если думаю, то о тебе, и ни о чём больше!

Последние слова Гвенаэль произнёс немного смущённо и тут же закашлялся, стараясь скрыть свою неловкость.

— Ах, какая же я глупая! — спохватилась Альсбета. — До сих пор заставляю тебя стоять на крыльце, а утро такое холодное сегодня! Пойдём скорее в дом, там тепло. И, знаешь, я вот тоже вчера вечером начала кашлять, и даже купила уже в аптеке специальное средство от кашля.

Она увлекла его за собой на кухню, сняла с огня закипевший как раз в это мгновение чайник и бросила в чайную чашку Гвенаэля щепотку какого-то порошка, пахнущего миндалём и яблочными косточками.

1.7. Последний день пребывания в институте

Константин собирал разбросанные по комнате вещи: одежду, тетрадки, статьи и книжки, и пытался засунуть их в свой рюкзак, что было непросто.

Последние дни погода стояла тёплая, поэтому его зимняя куртка уже была засунута на самое дно рюкзака, и после этого остальные вещи решительно отказывались туда помещаться. Надевать куртку в такую теплынь, даже просто на время дороги в аэропорт, совершенно не хотелось. Но не нести же её в руках! Может, удастся привязать её снаружи к рюкзаку? Он вытащил куртку, положил на её место несколько книжек — они были самыми тяжёлыми из его вещей — потом стал закидывать в рюкзак свои рубашки, свитер, какие-то бумажки и статьи, и при этом обнаружил среди них копию своего препринта. Везти его с собой никакого смысла не имело, ведь он всегда может заново его распечатать. Тем не менее он зачем-то стал перелистывать свою статью, и мысли его от сборов в дорогу перешли на математику, а также на то обстоятельство, что через несколько дней он собирался отправить свою работу на рассмотрение в научный журнал.

Статья была уже вполне для этого готова, но, стоило ему подумать, что вернувшись в Корнелл он должен будет её отослать, как его охватывал страх, что что-нибудь в ней неверно. Примерно такой же, как когда он только что доказал свою теорему. Конечно, теперь уже всё было тщательно написано, и он уже рассказал нескольким людям своё доказательство, но всё же: кто знает? Может быть в его аргумент закралась какая-нибудь тонкая ошибка, и тогда наверняка, если уж он сам её не заметил, другим ещё труднее её обнаружить. Он отпихнул ногой не собранный ещё до конца рюкзак и сел к столу, чтобы повнимательней прочитать заключительный этап своего доказательства, потому что именно он у него только что вызвал внезапные подозрения. В этот момент раздался звонок.

«Ах да, это Младен, который должен был сегодня зайти со мной попрощаться!»

И Константин, едва не споткнувшись о лежащий на полу рюкзак, бросился открывать своему другу дверь.

Это действительно был Младен. Он вошёл в комнату и широко улыбнулся. Вид у комнаты и в самом деле был довольно забавный: валяющиеся на стульях и на диване не собранные вещи, брошенная на стол дутая зимняя куртка, какие-то листочки, разбросанные по полу, и, наконец, посередине всего этого беспорядка Константин, с растерянным видом теребящий зажатую в руке распечатку своей статьи.

— Тут совсем уже надо надо собираться, но мне только что пришло в голову, что у меня в доказательстве может быть ошибка, поэтому я сел это проверять, — несколько извиняющимся тоном сказал Константин. — Вроде всё правильно, даже не знаю, отчего я вдруг так разволновался! Но ничего, после того, как я доказал результат этой статьи, меня поначалу ещё худшие сомнения мучили. С тобой такого не бывает?

— Обычно нет, — сказал Младен, немного подумав перед тем как отвечать. — Но у меня бывает другое: стоит что-либо доказать, как я начинаю бояться, что этот результат не нов, или что его кто-нибудь одновременно со мной докажет. Причём бывает очень смешно: докажу что-нибудь совершенно ничтожное, и при этом мне начинает казаться, что все вокруг обязательно тоже думают над той же задачей. И ужасно обидно, что все тоже могут вот-вот догадаться до решения! Головой понимаю, что на самом деле — дай бог чтобы она вообще хоть кого-то заинтересовала, но, как обычно, разумные доводы в таких ситуациях не очень помогают. Хорошо ещё, что пока думаешь о математике, ничего такого не бывает. Вообще, меня всегда интересовало, что с тобой происходит, когда занимаешься математикой — ты никогда об этом не размышлял? Я замечал, что пока думаешь о ней — не только все обычные сомнения и переживания из повседневной жизни куда-то исчезают, но и вообще, как будто ты становишься другим человеком при этом, или во всяком случае как будто бы при этом живёшь по каким-то совершенно другим законам, к обычной жизни никакого отношения не имеющим ...

— Ага, я тоже это замечал, — ответил Константин. — Например, часто очень трудно оценить время, которое проходит, когда думаешь над какой-нибудь задачей. И вообще иногда кажется, что находишься при этом в каком-нибудь другом месте. Я тебе не рассказывал историю про уборку риса? Странно, мне казалось, что я её уже рассказывал. Этой осенью, когда я думал над своей задачей — ещё задолго до того, как мне удалось найти её решение — я часто потом не мог вспомнить то, о чём я думал весь день. А если я пытался вспомнить, то воспоминания выплывали очень странные: мне мерещилось, что я весь день, по колено в воде, работал на рисовом поле. Наверное, это было от того, что я очень уставал, но всё равно странно. Ведь рисовых полей я, понятное дело, никогда на самом деле не видел, да и вообще в рисе почти ничего не понимаю. И, знаешь что? Очень забавно, мне только сейчас это пришло в голову! Перед отъездом в институт я заболел, и врач мне сказал, что у меня симптомы болезни, которая бывает, если питаешься одним только очищенным рисом — может быть в этом есть какая-нибудь связь с тем рисом, который мне мерещился во время моих занятий математикой? То есть, я, конечно, шучу, но с другой стороны я где-то читал, что если долго думать о чём-нибудь, связанном с болезнью, то могут появляться симптомы этой болезни, даже если самой болезни при этом нет. Но с рисом это в любом случае не то же самое, всё-таки ... Знаешь, вот я сейчас тебе рассказал, и при этом вспомнил ещё ясней, чем до этого: огромное такое рисовое поле, солнце печёт над головой, и мысль, что работать придётся ещё до самого вечера. Пожалуй, всё это мне мерещилось в те дни, когда мои математические размышления были наименее продуктивными ...

— Интересно, таких воспоминаний, как у тебя об уборке риса, у меня никогда не было. Вообще, мне, наверное, ещё хуже, чем тебе, удаётся вспомнить что-либо, происходившее в то время, пока я думал о математике. Даже на уровне ощущений. Я пытался проследить, как это происходит, но мне удалось запомнить только следующее. Иногда думаешь, как будто бы не всерьёз, или не удаётся толком сконцентрироваться, или просто настроение какое-то не достаточно математическое. О таких размышлениях ещё остаются какие-то воспоминания. Но бывает, начинаешь думать, и потом в голове как будто бы какой-то щелчок раздаётся, или иногда не щелчок, а скорее что-то вроде мгновенной вспышки, и после этого уже полностью уходишь в какой-то математический мир, о котором почти не остаётся никаких воспоминаний.

— Да, а потом думаешь, думаешь, но в какой-то момент как будто бы просыпаешься, и тогда снова оказываешься в обычном, нематематическом мире! — поддержал Младена Константин.

— Ты что, и вправду помнишь ощущения, которые бывают перед тем как, до этого думая о математике, внезапно перестаёшь о ней думать? — не поверил ему Младен.

— Да нет, — несколько растерянно сказал Константин. — Я сам не знаю, почему я это только что сказал. Как-то само слетело с языка ...

Они ещё долго болтали с Младенем, потом, наконец, спохватились, и Младен помог Константину кое-как записать его вещи в рюкзак. Только после этого Константин посмотрел на часы и понял, что уже здорово опаздывает. С рюкзаком за плечами (и зимней курткой в руках!) он бегом побежал в институт. Перед входом на его территорию он нос к носу столкнулся с какой-то девушкой, которая посмотрела на него и очень отчётливо улыбнулась.

— Вот чёрт, ведь не часто так бывает, чтобы на улице тебе так улыбались такие хорошенькие девушки, — подумал Константин. — И как назло, происходит это тогда, когда надо ужасно торопиться!

Девушка тем временем несколько преградила ему дорогу и продолжала улыбаться. Только теперь Константин вспомнил, что он был с ней знаком: он несколько раз видел её в институте, кажется, она занималась прикладной математикой, и ещё один раз во время обеда он даже разговаривал с ней о Греции и о том, как ей нравятся Афины.

«Неужели я становлюсь таким как Раджафер? Скоро совсем знакомых перестану узнавать, вот до чего доводят занятия математикой».

Девушка, не переставая улыбаться, сказала:

— Привет, я хотела тебе нечто предложить. Языковой обмен. Ты бы не мог учить меня греческому? Я, кроме английского, знаю ещё испанский и португальский, может, тебя это интересует? Правда, вообще-то я больше бы хотела учить древнегреческий. Но я хотела тебе спросить: новогреческий и древнегреческий действительно сильно отличаются?

— Ну, «бета» читается как «вэ», а не как «бэ», и есть ещё несколько небольших отличий, — сказал Константин, пятясь спиной по направлению к воротам на территорию института. Он помнил, что ему надо очень торопиться, но при этом лицо его всё ещё было повернуто в сторону девушки — в конце концов было бы невоспитанно убежать, ничего ей не ответив.

Та немного обиделась и сказала:

— Я ведь серьёзно говорю...

— Я тоже серьёзно, — ответил Константин. — Но только с обменом к сожалению не получится, потому что я сегодня уезжаю.

И он побежал в сторону института — на страшной скорости. Но всё-таки итоге он изрядно опоздал на встречу с профессором Варангом, и тот был явно этим очень недоволен. Они стали говорить, но во время разговора он слушал Константина не слишком внимательно и всё время поглядывал на свои наручные часы. Константин, конечно, был очень расстроен. Во-первых, он надеялся сегодня получить от Варанга напоследок ещё несколько полезных советов по поводу своей задачи. Во-вторых, ему бы хотелось, чтобы у Варанга осталось о нём хорошее впечатление. И тогда — кто знает? — тот может быть пригласил бы его ещё раз приехать в институт.

Но Варанг хмурился, листал, вместо того чтобы слушать Константина, свою последнюю статью, и в конце концов молодой человек понял, что беседа не удалась и что пора уходить.

Он вежливо попрощался — Варанг в последний момент отвлекся от своей статьи, сказал в напутствие Константину нечто довольно приветливое, закрыл за ним дверь своего кабинета и облегчённо улыбнулся.

Он ещё раз глянул на часы, хотя и знал, что это совершенно бесполезно — время по ту и по эту сторону текло совсем по-разному. Он подошёл к доске, написал какую-то формулу, задумался, рассеянно обвёл взглядом свой кабинет — полки с книгами, письменный стол, фотографию белой лошади над столом — снова подошёл к доске, попытался исправить написанную им ранее формулу, но что-то не сходилось. Он вспомнил, что не совсем правильно домножил левую часть на группу Вейля—Делиня, надо было добавить поправочный фактор, он исправил ошибку, написал ещё несколько похожих выражений, провёл стрелочки так, что всё вместе превратилось в довольно внушительную коммутативную диаграмму. В этот момент в глазах его что-то вспыхнуло, и он зажмурил их на мгновение, стараясь получше обдумать то, что он только что сам написал.

Он открыл глаза, но утреннее солнце было очень ярким, он закрыл их снова, пытаясь понять, почему он проснулся так рано. В этот момент раздался стук в дверь, на этот раз совсем громко, ему пришлось выскочить из постели, одеться на ходу и поскорее открыть дверь неожиданному посетителю.

Оказалось, что это был почтальон. Обычно он опускал письма в почтовый ящик при входе в дом, но сейчас письмо было заказным — и к тому же отправлено из канцелярии Р. ле Кина — поэтому почтальон хотел, чтобы Гвенаэль получил его лично и расписался о получении.

Как с ним часто это бывало после того, как внезапно проснёшься, у Гвенаэля всё немного путалось в голове, и первые минуты после сна он иногда не чётко помнил, где именно он находится. Поэтому вначале вместо своей подписи он попытался изобразить в толстой тетради почтальона нечто вроде группы Вейля—Делиня от $GL(n)$ над функциональным полем. Но он вовремя спохватился, старательно зачирикал группу Вейля и расписался как должно, потом проводил почтальона и только после этого открыл большой блестящий конверт со штампом императорской канцелярии в правом верхнем углу.

Листая письмо, он уже полностью забыл про функциональные поля, про группы Вейля—Делиня и про всё остальное, что происходило или могло происходить по другую сторону сна. Потому что письмо сообщало о событии, которое было крайне важным и почётным для Гвенаэля, и хотя Филипон уже намекал ему о нём во время их совместного обеда в «Жирной похлёбке», всё же в некотором смысле это событие было для него

неожиданностью.

В письме говорилось, что Гвенаэль назначается главным придворным писателем, и что по этому случаю ближайшим летом в императорском дворце состоится большой торжественный приём.

— Чтобы там ни говорили всякие простаки, но приходит час, когда настоящая литература получает должное признание, а развлекательная — она так навсегда и остаётся развлекательной! — торжествовал Гвенаэль. До этого момента в глубине души он был почти что уверен, что главным придворным писателем назначат Омера, книги которого, и до этого значительно более читаемые, чем книги Гвенаэля, последнее время приобретали всё большую и большую популярность.

Но теперь, вот оно, перед ним, письмо, написанное золочёными буквами и даже с подписью самого императора на последней странице! — и не оставалось никакого сомнения в том, что главным писателем будет отныне именно он, Гвенаэль. Он даже на всякий случай внимательно осмотрел конверт, нет ли тут какого-нибудь подвоха, но нет, письмо действительно отправлено из императорской канцелярии, и адрес на конверте стоит именно его: Гвенаэль Варанг, улица Нелокальных Возмущений, дом 45. Да, именно улица Нелокальных Возмущений, а не какой-нибудь, как вы могли подумать, Кошачий переулок — сколько бы в этом Кошачьем переулке не жило творцов легковесных и развлекательных бестселлеров!

Где-то в самой глубине его подсознания шевелились гораздо менее приятные мысли о том, что дело могло быть вовсе не в том, что книги у Омера слишком развлекательные, а просто в том, что он не пользовался достаточной благосклонностью новой власти. И ещё одна мысль о том, что Альсбете, с которой он только недавно помирился и уже почти договорился наконец после примирения о дате их предстоящей свадьбы, вряд ли очень сильно понравится его будущий титул.

Но этим мыслям Гвенаэль не давал вылезти дальше самого глубокого уровня подсознания, а все другие уровни и сознания, и подсознания были заняты одним и тем же, довольно простым содержанием:

«Быть главным придворным писателем — это огромная честь, быть главным придворным писателем — это очень-очень здорово, поскорее бы состоялся приём в императорском дворце, чтобы все поскорее узнали о необычайном успехе Гвенаэля! Впрочем, новость эта наверняка быстро распространится ещё и до официальной церемонии во дворце, потому что новость эта важная и почётная, потому что быть главным придворным писателем важно и очень-очень здорово, и ничто не помешает его радости в этот так хорошо начавшийся для него день!»

Часть вторая

2.1. Приём в императорском дворце. Посвящение Гвенаэля в придворные писатели

Два месяца перед церемонией посвящения в придворные писатели пролетели очень быстро, быстрее, чем ожидал Гвенаэль. Это было славное, очень-очень славное время.

Гвенаэлю не удавалось скрывать радость, его наполнявшую, он ходил по улицам улыбаясь. Люди, близкие к придворным или литературным кругам знали, в чём была причина этого хорошего настроения (хотя официально назначение придворным писателем должно было оставаться в тайне вплоть до самого дня церемонии посвящения, слухи распространялись быстро и многие уже давно были в курсе). Впрочем, люди далёкие и от литературы, и от политики не подозревали, чем была вызвана постоянная улыбка на лице Гвенаэля, и просто так улыбались ему в ответ, если им приходилось с ним где-нибудь столкнуться.

Даже Альсбета, вопреки опасениям Гвенаэля, сначала приняла новость гораздо лучше, чем он думал.

— В конце концов то, что это называется придворный писатель — это ведь просто формальность? На самом деле это что-то вроде приза, которого вручают самому лучшему писателю, правда? Знаешь, я очень за тебя рада и ужасно тобой горжусь!

Но по мере того, как церемония приближалась, настроение принцессы ухудшалось.

— Дело не в самом титуле, который ты получишь, — говорила она. — И даже не в том, что для его получения тебе придётся присутствовать в императорском дворце. Но ведь эту разноцветную ленточку с золотой надписью, её ведь будет вручать сам император, и после этого тебе придётся поцеловать его руку? Мне кажется, это всё-таки нехорошо и унижительно — целовать руку R. ле Кину, ты так не считаешь?

— Раньше ты говорила, что рада за меня! — взрывался в ответ Гвенаэль. — У тебя настроение способно так быстро меняться, что никакой возможности нет за ним уследить! Тем более что меняется оно почти всегда без малейшего на то повода!

— Почему же без повода, — возражала Альсбета. — Я же тебе сказала, раньше я не знала о том, как именно проходит церемония посвящения, и про поцелуй императорской руки тоже не знала...

— Кто тебе, кстати, всё это рассказал? У меня нет никаких в сомнений в том, что это был Омер, так ведь? Он просто обижен, что звание придворного императора присудили не ему, и, вообще, я давно уже заметил, что он всё время пытается настроить тебя против меня.

— Ты сам не знаешь, что ты говоришь, — перебивала его Альсбета, тоже совсем уже выходя из себя. — Про церемонию я прочла в газете, а Омера я не видела уже целый месяц по крайней мере. И никогда он не настраивал меня против тебя!

Вот так они начинали ссориться. Правда, каждый раз они потом спохватывались и мирились, но всё-таки чувствовалось, что что-то постоянно стоит между ними. Свадьбу, которая должна была состояться летом, передвинули на осень. Впрочем, на это как будто бы были какие-то практические причины.

По-настоящему отношения между Гвенаэлем и Альсбетой испортились тогда, когда она узнала, что среди почётных гостей на церемонии посвящения будет присутствовать Филипон Старший. Собственно, Гвенаэль сам об этом проболтался, и потом ужасно корил себя за это.

«Как будто бы мне самому приятно, что этот болтливый развязный толстяк будет присутствовать на церемонии во дворце, — оправдываясь, говорил сам себе Гвенаэль. — Но, с другой стороны, невозможно ведь поверить, что он когда-то мог съесть родителей Альсбеты. Бред, какой это всё бред! Но говорить о нём Альсбете не стоило, вот уж действительно не стоило. Кто меня только за язык тянул!»

Впрочем, даже все эти мысли не могли полностью омрачить его радость. Последние дни перед церемонией пролетели так быстро, что о них ни осталось ни малейшего воспоминания в его голове.

А вот сама церемония посвящения запомнилась ему очень хорошо.

По случаю праздника вокруг дворца были расставлены вазы с цветами, а по всему холму, на котором стоял дворец — кадки с пальмами и другими южными деревьями. В здешнем климате пальмам должно было быть довольно зябко. Но не важно, всего ведь на один день всё это, за один день не успеют замёрзнуть!

Чёрные свинки, обычно спящие перед всеми входами и выходами, в этот вечер были куда-то убраны. Так что все гости могли смело входить во дворец, не рискуя заразиться чёрной свиной лихорадкой.

Все залы во дворце сверкали, это было видно даже прежде, чем в него войдёшь: из всех окон лился свет тысячи зажжённых свечей.

Но всё же только войдя вовнутрь Гвенаэль понял, насколько ярко и празднично во дворце. Свет свечей отражался в позолоте стен и потолка, в золотых тяжёлых перилах парадной лестницы, и всюду стоял какой-то странный гул, даже не понятно было, что это — голоса гостей, негромкая музыка откуда-то из глубины дворца или ещё что-то.

Гвенаэль поднялся по устеленной красной дорожкой парадной лестнице. Все смеялись и улыбались ему в ответ, искренне так и весело смеялись несмотря на торжественность случая, и всё же всегда немного отступали перед ним с какой-то смущённой почтительностью.

Гвенаэлю казалось, что ему даже не нужно было переставлять ноги, какая-то сила несла его, он как бы плыл по этой парадной лестнице, по радостным разукрашенным залам, рассекая, как корабль, волны улыбок, шёпота и праздничного гула.

Вот Старый Императорский зал, который всегда казался намного больше, чем он был на самом деле потому, что все стены его были из зеркал. Вот Малый Весенний зал, который казался намного выше, чем он был на самом деле, так как верхняя часть стен и потолок в нём были светло-голубыми и похожими на небо.

И вот наконец — Большой Тронный зал. Он никогда в нём раньше не был, но на рисунке в одной книжке по истории искусств однажды видел изображение уникального паркета этого зала. Он был из наборного дерева с вкраплениями золотых прожилок, с такими странными красивыми фигурами: что-то округлое, к нему прилипли круги поменьше, потом ещё поменьше, и всё же это не совсем круги, иначе фигуры выглядели бы слишком ровными, а так — даже не знаешь, как их описать, живыми они не были и всё же ужасно будоражили воображение, больше, чем рисунок иinea на окне в морозную ночь, больше, чем розовые кораллы в тихой воде южных прозрачных морей.

Он сразу вспомнил это своё детское впечатление, когда он впервые увидел на книжной странице рисунок этого дворцового паркета — стоило ему сейчас увидеть только совсем маленький кусочек этой загадочной фрактальной фигуры. Но разглядеть рисунок толком никакой возможности не было: в тронном зале было столько гостей, он был просто битком набит. От Гвенаэля гости по-прежнему немного отшатывались с торжественной почтительностью, но несмотря на это образовывавшееся вокруг него свободное пространство было очень маленьким. И только очень небольшие кусочки паркета можно было поэтому увидеть.

Но Гвенаэль вскоре забыл про странные фигуры на наборном паркете — было не до того — сверкали свечи, в ответ им светились золотые стены, праздничный гул становился всё громче и слаще...

И вдруг он моментально затих. Это на королевском троне — большущем золотом троне с подлокотниками в виде голов семиязычных драконов — внезапно появился император Р. ле Кин. Гвенаэль не понял, как именно это произошло, да и, пожалуй, никто в зале этого тоже не понял. Но вскоре это обстоятельство тоже перестало быть важным. Потому что Р. ле Кин начал произносить свою торжественную речь, и все присутствовавшие замерли, внимая его словам. Гвенаэль тоже замер, со вниманием слушая императора, но вскоре он заметил очень странную вещь: как он ни старался, он никак не мог понять или уж во всяком случае никак не мог запомнить то, что говорил Р. ле Кин. Он резко мотнул головой и зажмурился, пытаясь стряхнуть с себя оцепенение, которое, как он думал, мешало ему сосредоточиться на столь важной и почётной для него речи, потом быстро открыл глаза и увидел вокруг себя следующее. Или ему только померещилось, что он всё это видит?

Зал вокруг него на мгновение стал ещё намного больше, чем он был до этого, и выглядел как-то иначе: золотые стены стали скорее красными, толком не разберёшь, потому что находились они теперь очень далеко от него, свечи куда-то исчезли, но по-прежнему со всех сторон лился яркий, почти что слепящий глаза свет. Трон отодвинулся в глубину зала — или теперь это был не трон? — пожалуй, это был не трон, а какое-то другое сооружение, лишь немного его напоминающее — и там не то на, не то за этим странным сооружением стоял человек в тёмной одежде. Похож ли он был на императора или нет, с такого расстояния не было никакой возможности разглядеть, но было слышно, что он тоже произносил речь, и в этой речи нельзя было уже просто ни слова понять, хотя звучала она громко, пугающе громко. Гвенаэль снова невольно зажмурился и, открыв глаза, с облегчением увидел прежний, нормального размера тронный зал.

Речь императора была, как и раньше, малопонятной, но сейчас Гвенаэль понимал большинство отдельных слов, которые произносил Р. ле Кин, просто смысл как-то ускользал от него. Впрочем, с остальными гостями всё обстояло по всей видимости иначе. Время от времени в зале поднимался шум, это был не тот суматошный шум, который стоял здесь до появления на троне императора, а более слаженный, одобрительный гул, явно означавший, что гостям очень нравится только что произнесённая фраза. В один из моментов, когда гул стал особенно громким, Гвенаэлю показалось, что стены тронного зала раздвигаются, становятся красноватыми...

Но нет, он взял в себя в руки, и спокойно пообеда вокруг себя взглядам убедился в том, что зал прежний, золотостенный, освещённый свечами и ровно такого размера, каким он был когда Гвенаэль в него вошёл.

Император тем временем в своей речи стал говорить о Гвенаэле. Он это понял по поворачивавшимся то и дело в его сторону головам и, прислушавшись, стал замечать, что Р. ле Кин неоднократно произносит его имя. Тут ему, конечно, стало особенно любопытно узнать, что же именно он говорил, стараясь изо всех сил слушать внимательно он уловил несколько очень лестных эпитетов, но общий смысл фраз по-прежнему оставался

непонятным, так вплоть до самого конца торжественной речи.

Когда смолкли последние слова императора, Гвенаэль понял, что ему следует приблизиться к трону. Более того, ему показалось, что что-то схватило его и с огромной силой швырнуло к подножию императорского трона.

Впервые в жизни он увидел Р. ле Кина с такого близкого расстояния. Император улыбался, но при этом выражение лица у него было напряжённым, или, может, быть просто очень официальным. Гвенаэлю было интересно его получше разглядеть, но ему было не оторвать глаз от прекрасной разноцветной ленточки в руках у императора. И дело не только в том, что ему эта ленточка сулила необычайную честь — она действительно была чрезвычайно красива, переливалась всеми цветами радуги, и золото нанесённой на неё надписи тоже было необычным и потрясающе красивым, каким-то очень светлым и глубоким.

В этот момент свет свечей огромной люстры, висящей за императорским тронем, отразился в одной из золотых букв на разноцветной ленточке, отразившись, ударил в глаза Гвенаэлю, и после этого ему показалось, что он ослеп.

Он просто жутко испугался, разом забыл обо всём на свете — о церемонии, императоре, титуле придворного писателя — единственной его мыслью было: только бы не навсегда, только бы не навсегда эта слепота, только бы снова научиться видеть.

Но всё это произошло за одну секунду, его страх был совершенно безосновательным. Через пару мгновений он уже снова мог видеть, правда, какое-то время всё вокруг было мутным, нерезким, и перед глазами плыли большие чёрные пятна. Он по-прежнему смотрел на ленточку, но она уже не казалась ему такой прекрасной. Вначале он почти не разбирал цвета, наверное, всё дело было в этом.

Но вот чёрные пятна стали исчезать, всё вокруг стало приобретать снова свои цвета, и Гвенаэль с изумлением увидел, что ленточка не была разноцветной, она была самого что ни на есть обычного красного цвета.

Но у него не было времени чтобы хорошенько обдумать это обстоятельство, потому что чьи-то руки обернули эту ленточку вокруг его шеи, что-то круглое стукнулось об его грудь, и где-то в хаосе его совсем уже перепутавшихся мыслей всплыло воспоминание о том, что сейчас, наверное, полагается поцеловать руку императору. В этот момент кто-то протянул ему руку, но не так, как её протягивают для поцелуя, а так, как её протягивают для рукопожатия — это был какой-то незнакомый человек в тёмной одежде пожалуй, всё-таки довольно похожий на императора. Гвенаэль мгновенно протянул ему в ответ свою руку и почувствовал очень сильное пожатие, настолько сильное, что у него от боли перехватило дух. Он пришёл в себя и ничего не понимающим взглядом уставился на императора. В зале стояла какая-то неловкая тишина, казалось, что все чего-то ждут от Гвенаэля.

«Ах да, — снова пронеслось у него в голове, — поцелуй императорской руки! — и, упав на колени, он быстро коснулся губами протянутых ему бледных и сухих пальцев».

Тут заиграла музыка. Гвенаэлю показалось, что эта самая замечательная мелодия из всех, которые ему приходилось когда-либо слышать. Он медленно поднялся с колен и обвёл глазами зал.

Отсюда, со стороны трона, зал казался особенно красивым. Только сейчас Гвенаэль увидел все украшения, развешанные по стенам в честь сегодняшнего праздника. К тому же он смог наконец разглядеть перед собой редкий рисунок наборного паркета: вот одна округлая линия, к ней, изгибаясь, приклеиваются округлые линии размером поменьше — да, это был точно тот рисунок, который он видел когда-то в книжке. Паркет был собран из редкого дерева, но вот эти тонкие линии, разделяющие кусочки дерева разных пород, были золотыми. Всё же остальное — стены, потолок — были просто из золота. Оказалось, что свечи по залу расставлены так, что их свет, отражаясь от золотых стен, собирался сюда, к трону. От этого зал, если смотреть на неё с того места, где стоял Гвенаэль, казался особенно блистательным. Он продолжал рассматривать всё это сверкающее великолепие, но в какой-то момент, быстро скосив глаза, успел оглядеть лацкан своего пиджака. На нём, переливаясь всеми цветами радуги, красовалось теперь ленточка с золочёной надписью: «Придворный писатель».

«Надо же, как я волновался эти последние дни, из-за этих волнений мне даже непонятно что мерещилось во время торжественной церемонии, — сказал сам себе Гвенаэль. — Но теперь всё, свершилось! Больше не о чем переживать!»

Он медленно шёл по залу. Всё ещё играла музыка, наверное, в одном из соседних помещений находился оркестр. Многие гости принялись тем временем танцевать, но при приближении Гвенаэля каждая пара — одна за другой — выходила из танца, поздравляла Гвенаэля, и снова вливалась в танцующую толпу.

Особенно лестными были поздравления писателей и литературных критиков. Не все из них присутствовали во дворце — как не трудно догадаться, Омера, например, не было среди гостей — но всё же Гвенаэль с огромным удовольствием отметил, что среди поздравляющих было много людей неглупых, достаточно тонко понимающих литературу, многие из них очень неплохо были знакомы с творчеством Гвенаэля, и ему удалось услышать немало в высшей степени небанальных замечаний по поводу своих последних романов.

Но особенно он был растроган беседой с одной молоденькой девушкой, которая, как оказалась, не только прочитала все его книжки от корки до корки, но некоторые перечитывала даже по несколько раз.

Он покраснел от радости и смущения, и тут же подумал: как жалко, что Альсбета не пришла со мной на этот торжественный вечер!

Перед церемонией он не раз думал об отказе принцессы идти с ним во дворец в том свете, что это может

вызвать неловкость и дурацкие разговоры: почему это невеста будущего придворного писателя не сопровождает его на приёме у императора? Но сейчас ему стало ужасно стыдно за все эти свои прошлые мысли. Ведь ему действительно просто очень, очень-очень хотелось, чтобы принцесса была здесь с ним, видела бы этот прекрасный блистающий зал, нарядную весёлую толпу, слышала бы эту замечательную музыку — он был уверен, что музыка ей особенно бы понравилась, сменявшие друг друга мелодии были одна другой удивительней.

— Как жалко, что Альсбеты нет здесь со мной. Надо будет ей хотя бы рассказать хорошенько об этом вечере!

И, продолжая отвечать на улыбки, рукопожатия и поздравления, он, сам себе не отдавая в этом отчёта, стал проталкиваться в сторону выхода.

В соседних залах, менее торжественных, чем Большой Тронный, тоже теперь было полным полно гостей, большинство из которых танцевали. Глаза Гвенаэля немного устали от яркого света, губы устали улыбаться, рука устала от рукопожатий, и радость в его сердце стала менее пронзительной, более мягкой и спокойной. Ему удалось наконец пройти через танцующую толпу к парадной лестнице, и, спускаясь по красной ковровой дорожке, он уже полусонно думал об Альсбете, о том, как он ей обо всём здесь расскажет, вот об этой лестнице тоже, хотя она, наверное, её видела, по крайней мере, когда была ещё маленькой. Зато чудесные мелодии непонятно где спрятавшегося оркестра она скорее всего никогда не слышала — только вот как об этом рассказать? Мысли путались в его усталой голове, он почти что видел перед собой лицо принцессы: голубые огромные глаза, белоснежные волосы, небрежно закинута за уши, немного удивлённый рот . . . Он задумчиво перешагивал через ступеньки парадной лестницы, как вдруг кто-то подошёл к нему со спины и сильно ударил его по плечу.

— Хо-хо-хо, поздравляю! — услышал он у себя за спиной низкий и немного булькающий голос, и резко обернувшись, увидел Филипона. Старшего, разумеется — Филипон Второй младший на церемонии не присутствовал, должно быть, ждал где-то в карете неподалёку от дворца своего хозяина.

— Поздравляю, поздравляю, — довольно улыбаясь, повторял бородатый толстяк, и тут Гвенаэлю вдруг мгновенно стало очень нехорошо. Он даже не успел подумать о том, как расстроилась бы принцесса, узнай она о его встрече с Филипоном, не успел подумать о том, полная или неполная глупость разговоры о том, что Филипон мог когда-то съесть родителей Альсбеты — просто у него моментально, с необычайной ясностью, всплыла перед глазами сцена их давнего обеда в харчевне «Жирная похлёбка», он увидел, как наяву, огромную миску тёмного мутного супа на столе перед Филипоном, и к его горлу подступила сильная тошнота. Он оттолкнул снова пытавшегося похлопать его по плечу толстяка, в два прыжка преодолел остаток парадной лестницы и выбежал из дворца.

Снаружи стояла ночь, холодная и очень тёмная, и от свежего ночного воздуха ему стало заметно легче. Он тяжело дышал, прижимал руку к груди и пытался понять, окончательно ли он пришёл в себя.

Небо над ним было чёрным, и по нему было разбросано несколько светлых и далёких звёзд. Холм, на котором стоял дворец, был совершенно пустынным, и кадки с пальмами, расставленные на нём сегодня утром, сейчас, в темноте, выглядели загадочно и странно. Из-за одной такой кадки выглядывали два небольших чёрных глаза и пристально смотрели на Гвенаэля. Взгляд казался внимательным, пронизывающим, но при этом не совсем было понятно, могут ли вообще эти глаза что-либо видеть. В другое время Гвенаэль тут же испуганно бы отпрянул: чёрный поросёнок, опасность заразиться чёрной свиной лихорадкой! Но события этого вечера настолько его утомили, что он только похожим, мало что понимающим взглядом смотрел в ответ в эти чёрные, глубокие и в то же время как бы непроницаемые глаза, ни в силах пошевелиться или хотя бы моргнуть.

Наконец, свинке надоела эта игра в гляделки, она выскочила из-за кадки с пальмой, и, к счастью так и не приблизившись к Гвенаэлю, скрылась за холмом, на котором стоял императорский дворец.

Гвенаэль понял, что больше уже не хочет рассказывать Альсбете о сегодняшней церемонии. Во всяком случае в этот вечер он к ней не пойдёт, совершенно неподходящее у него было настроение для того, чтобы к ней идти. Да и в любом случае час уже был для этого слишком поздний.

2.2. Электронная почта

Письмо, посланное Младеном Константину в Корнелл. Следует принимать во внимание то, что в письмах к своему другу Младен имеет обыкновение называть Варанга шефом Константина, хотя тот не является его научным руководителем.

From: mladen.limic@math.adv-studies.edu

To: constantine.dimitriakis@cornell.edu

Subject: Hi

Привет,

Видел вчера твоего шефа и решил тебе написать. За те пару недель, что он отсутствовал, важности у него прибавилось хоть отбавляй. Но при этом очень довольный — ходит и на всех посматривает с такой снисходительно-великодушной улыбкой. Думаю, если ты собираешься написать ему о том, что

снова хочешь приехать в институт, сейчас — самое подходящее время. Не упускай момент, пока у него такое доброе настроение!

Ещё до того, как он вернулся, во многих газетах написали о полученной им медали. У нас в институте, около чайной комнаты, повесили вырезки из наиболее интересных статей. Только вот журналисты, ты знаешь, как всегда всё на свете умеют перепутать: в одной статье вместо его фотографии по ошибке поместили фотографию его младшего брата! Но это ещё что, автор другой статьи вообще не знает, в какой стране находится Пекин (или совсем не смотрит на то, что пишет): «... крупнейший математик нашей страны профессор Варанг, только что получивший в Пекине престижную награду ... после завершения торжественной церемонии и приуроченному к ней конгрессу возвращается завтра домой из Японии!»

Короче, приезжай, сам увидишь, если ещё не читал эту статью.

Как дела у вас там в Корнелле?

пока, Младен

Приведённое выше письмо — стандартный образчик переписки между Константином и Младеном, такого рода письмами они обменивались по крайней мере раз в неделю. А вот, напротив, достаточно необычное письмо, посланное профессором Моррисом профессору Мэйли.

From: phil.morris@math.adv-studies.edu

To: philippe.mayley@math.adv-studies.edu

Subject: Re: Lunch

Дорогой коллега,

Вот ещё список некоторых потенциальных визитёров и постдоков. Привожу только те фамилии, которые мы не успели с Вами в прошлый раз обсудить.

Брюс Стивенсон, 45 лет, 95 кг примерно

Изабель Фрост, 29 лет, ≈ 50 кг (по некоторым признакам страдает малокровием)

Петер Монк, 37 лет, 70 кг примерно

Стив Лайонс, 35 лет, вес не установлен

Мартин Ланг, 58 лет, 70 кг

Кин Хменг, 26 лет, 65 кг примерно

Мария Рождественская, 25 лет, 60 кг

Ян Дворецки, 25 года, 70 кг примерно

Роберто Паризи, 23 года, вес не установлен

Напишите, дорогой коллега, что вы о них думаете. Завтра после чая собираюсь быть в институте, так что можно будет также лично всё обсудить.

С уважением, Филипп.

2.3. Конфуций, Гвенаэль и Альсбета

Ситуация в городе тем временем становилась мрачнее. Император Р. ле Кин издал указ, запрещающий театральные представления. Поводом для него послужил театр комедии, на сцене которого часто появлялись Пьерро и Арлекин. Правитель усмотрел в этом намёк на себя и своего нового премьер-министра Пьерро.

Потом с прилавков книжных магазинов стали исчезать книги. Вроде бы никто их не запрещал, но многие издания стало совершенно невозможно найти.

И ещё бездомную кошку теперь никогда уже не встретишь, но это не совсем уже новость, кошек отловили давно, сразу после к приходу к власти Р. ле Кина.

Все эти изменения происходили постепенно, о каждом из них поначалу много говорили, но вскоре забывали. Так что мало кто осознавал, что в итоге жизнь очень заметно отличалась от того, что было раньше.

Омер Раджафер, погруженный в написание своего нового романа, и вовсе не был в курсе многих последних событий. Но проснувшись однажды утром он почувствовал, что что-то в этом городе происходит не так, просто нерепарировано не так.

Раньше кое-что из жизни города можно было узнать из газет, но в последнее время газеты стали совсем скудными и бессодержательными. К счастью был другой, более надёжный способ узнавать свежие новости.

Надо было дожидаться среды, потому что именно среда была базарным днем, и пойти с самого утра на городской рынок.

Во вторник вечером Омер завёл будильник, чего давно уже не делал в последнее время, но это оказалось излишним — следующим утром он сам проснулся очень рано, почти за час до намеченного, быстро собрался и пошёл на городской базар.

Для начала он купил три зелёных яблока и спросил при этом у продавщицы:

— Что нового в городе? О чём говорят на рынке?

— Говорят, что к осени подорожает сахар, — ответила торговка яблоками. — А ещё пойдите, спросите у моей свояченицы — вон там, видите, та, что продаёт мороженую рябину — она обычно больше меня знает.

Омер протолкался через толпу, отделявшую его от соседнего прилавка, купил маленькую баночку рябинового варенья и спросил:

— Что слышно, о чём говорят нынче на рынке?

— Не знаю, сынок, — ответила торговка. — Я на прошлой неделе застудила левое ухо, и что-то плохо слышу теперь. Думаю, тебе лучше спросить у продающего персидские ковры.

На этот раз Омеру пришлось пробираться в противоположный конец рынка.

Торговец коврами начал собрался было начать расхваливать свой товар, но поглядев пристально на Омера понял, что у того вряд ли хватит денег даже на самый что ни на есть маленький персидский коврик. Недовольный этим открытием, он произнёс весьма сердитым голосом:

— Иди, найди премьер-министра. И поторопись, тебе стоит найти его до сегодняшнего полудня.

— Премьер-министра? — очень удивился Омер. — Не представляю, о чём бы я вообще мог разговаривать с министром Пьерро...

— Да нет же, — презрительно ответил торговец (было непонятно, относилось ли его презрительность к непонятливости Омера, к министру Пьерро, или и к тому, и к другому). — Я говорю, конечно, про бывшего премьер-министра Конфуция. И давай, ступай, а то ты мне заслоняешь ковры от покупателей.

Уже почти у самого выхода Омер увидел продавца старыми книгами. В обычных книжных магазинах последнее время трудно было купить что-либо интересное, но здесь, на рынке, всё казалось было по-старому. Внимание Омера быстро привлёк золочёный томик Макбета очень старого издания, сборник пьес Евгения Шварца, тоненькая книжечка стихов Хармса и ещё какая-то книга, называвшаяся «Урожай и посевы», незнакомая ему, но сразу же бросающаяся в глаза благодаря своей ярко-голубой обложке.

Раджафер очень любил разглядывать старые книги, и в другое время провёл бы у этого прилавка не менее часа, но сейчас надо было торопиться. До полудня было ещё порядочно времени, но ведь неизвестно, сколько времени придётся потратить на поиски премьер-министра. Правда, Омер надеялся, что найти его будет нетрудно — говорили, что после ухода в отставку он большую часть дня проводит у себя дома. И хотя Омер никогда раньше не был у него в гостях, он хорошо знал, где находится его дом. Министр жил на площади Александра, и до недавнего времени, когда кто-нибудь упоминал её, почти всегда добавляли: на площади Александра, вы знаете, это там, где находится дом премьер-министра.

Место это было довольно интересным. В отличие от многих других площадей города, бывших шестиугольными, площадь Александра была круглой, и по середине её стояла забавная скульптура. Это было что-то вроде большого белого шара, из которого на встречу друг другу выходили два толстых рога, на конце у каждого из них было два рога потоньше, потом из каждого тонкого рога ещё по два тоненьких рога и так далее. Каждый раз рога не дотягивались друг до друга, но в целом казалось, что всё это сооружение из рогов в конце концов каким-то хитрым образом зацеплено. Точно нельзя было разглядеть, потому что с какого-то момента рога становились совсем маленькими, невооружённым глазом было не увидеть, что там именно с ними происходило. И ещё потому, что на скульптуре обычно сидели голуби.

В этот день их было видимо-невидимо. Некоторые из них суетливо взлетели, увидев проходящего мимо них Омера, но вскоре уселись обратно на белые рога полюбившейся им скульптуры.

Раджафер не ошибся в своих ожиданиях, премьер-министр оказался у себя дома. Он сидел, склонившись над шахматной доской, и не то составлял, не то решал какой-то шахматный этюд.

Когда Омер вошёл, Конфуций передвинул коня с G2 на F4, после чего спросил у нежданного гостя, не хочет ли тот сыграть с ним партию.

— Нет, я не умею играть, — извинился Омер. — Даже не знаю толком, как ходят фигуры. В детстве я научился играть только в игры попроще, в шашки или в трик-трак.

— Проще?! — удивился Конфуций. — Наверное, вы по старинке играли в шестидесяти четырёх клеточные шашки. Потому что теперь, вы знаете, принято играть на столеточной доске, и это очень сложная игра. И так в шахматах никогда не знаешь, что делать с клетками E7 и E8, а в шашках теперь есть ещё E9 и E10, это совсем уже трудные клетки, хорошо хотя бы то, что E10 белая, и шашки по ней не ходят.

Омер не понял последнего замечания премьер-министра, но в любом случае он пришёл вовсе не для того, чтобы разговаривать о шахматах или шашках. Он минутку помолчал, потому что ему было несколько неловко переводить разговор на более серьёзную тему, и потом сказал:

— Я пришёл поговорить с вами о последних малоприятных событиях. Надо что-то делать, я уверен, есть ещё способ всё это изменить. И вы, я думаю, его знаете.

— Способ должен быть, но вы ошибаетесь, я его не знаю, — ответил Конфуций. — Обо всём этом пора подумать молодым. Знаете, я ведь ушёл в отставку не только из-за смены правительства. Я занимался этим городом больше сорока лет, и нет ничего, чем можно было бы заниматься бесконечно.

— Бросьте, вы не хуже меня знаете нашу молодёжь, — возразил ему Омер. — Одни — вроде бы неглупые — поддались на соблазны Р. ле Кина и его двора. Есть другие — почестнее и попрямей душой, но без большого ума тоже далеко не уйдёшь ... Так что если уж вы ничего не придумаете, у других тем более вряд ли получится.

— Ладно, я попробую, — устало и грустно ответил Конфуций. — Но учтите, либо всё удастся успеть к началу следующей недели, либо вам не придётся больше рассчитывать на мою помощь. Через неделю мне исполняется 80 лет, и после этого в политических делах я уже точно участвовать не буду.

— Мне надо будет покопаться в старых книгах, — добавил он после некоторого размышления, кажется, что-то вспомнив и несколько оживившись. — По-моему, однажды я видел одну книгу с заклинаниями, возможно, она могла бы нам помочь ... Приходите снова завтра утром — часов в 7, это для вас не слишком рано? Мы всё тогда толком обсудим.

Когда Омер собрался уже уходить, из соседней комнаты выскользнула пушистая чёрная кошка и стала тереться об его ноги. Омер наклонился её погладить, и она довольно замурлыкала, замуривая ненадолго от удовольствия свои круглые жёлтые глаза. Омер погладил её снова, почесал ей шею — кошка была чёрная-чёрная, и только на шее было небольшое белое пятнышко — и спросил у премьер-министра, как её зовут.

— Гафа, — ответил Конфуций. — Она любит провожать моих гостей. Иногда доходит с ними почти до самого дома, и только потом возвращается. Но последнее время я боюсь отпускать её на улицу без присмотра. Так что нет, Гафа, дай Омеру выйти, не загораживай дверь, ты останешься со мной, не надо его провожать.

По дороге домой Омер решил пройтись вдоль по набережной. Это был не самый короткий путь, но погода была хорошей, и ему хотелось посмотреть, как плещутся в прозрачной воде Кортеевочки разноцветные рыбки.

Подходя к реке он увидел Альсбету и Гвенаэля. Он хотел их окликнуть, но промолчал, увидев, что они о чём-то напряжённо спорят. Он подошёл поближе, но они так и не замечали его: принцесса — потому что стояла к нему спиной, Гвенаэль — потому что был слишком занят тем, что говорила ему в этот момент принцесса.

— ... ты настолько изменился, всё, что ты говоришь теперь, так холодно и бездушно! Я бы и вовсе уже забыла, каким ты был раньше, если бы не хранила твои старые письма.

Тут Альсбета достала из потайного кармашка своего синего платья сложенный лист бумаги, исписанный мелким почерком Гвенаэля, и продолжила:

— Вот, это моё любимое письмо, ещё не так давно ты писал: «... мне так хочется, Альсбета, чтобы ты была счастлива, очень-очень-очень счастлива ...»

И, несколько более тихим и смущённым голосом она прочла вслух ещё несколько отдельных строчек письма:

— «... голубые глаза твои, большие и яркие, ямочка на правой щеке, когда ты смеёшься ...» Мне даже трудно поверить, что тот, кто писал эти строчки, и ты сегодняшний, такой недобрый и раздражительный, — это один и тот же человек!

Было, конечно, довольно невоспитанно слушать столь личный разговор, к тебе не относящийся, и Омер был заметно взволнован услышанным, но уходить теперь было поздно: Гвенаэль, наконец, заметил его присутствие.

— Ямочка на правой щеке, когда ты смеёшься — ты писал такие письма, Гвенаэль? — спросил Омер, и принцесса вздрогнула, потому что не ожидала услышать за своей спиной его голос. Она робко улыбнулась ему, потом повернулась обратно к Гвенаэлю, думая, что тот сейчас ответит, что нечего Омеру лезть в дела, совершенно его не касающиеся — это было бы очень на него похоже, к тому же в данном случае, такой ответ не был бы бесосновательным — но Гвенаэль ничего не сказал и повёл себя в высшей степени странно.

Он вырвал из рук Альсбеты своё письмо, скомкал его, быстро перевёл свой взгляд с принцессы на Омера, потом снова обратно на принцессу, открыл рот, как будто собирался что-то ответить, но, издав непонятный гортанный звук, по тембру похожий на заикание, замолчал, так ничего и не сказав.

— Что это значит? — спросила Альсбета, испуганная его странными действиями. — Почему ты отнял у меня письмо?

— Спроси у Омера, — ответил Гвенаэль каким-то неживым голосом. — Я не писал этого письма, оно было частью его нового романа ... Мне уже всё равно теперь ...

— Да, да, можешь не смотреть на меня так удивлённо, — добавил он громче, по-странному воодушевляясь. В его серых глазах, обычно довольно спокойных, танцевали злые и безумные искорки. — Да, я полный подонок, залез когда-то в комнату Омера, залез как грабитель, через окно, с крыши дома напротив — это совсем нетрудно, Кошачий переулочек ведь совсем узкий, это ничего не стоит сделать!

Говорил Гвенаэль очень быстро, намного быстрее, чем обычно, казалось, что начав говорить он не может остановиться пока всё не скажет:

— Да, как самый обычный вор, я залез через окно в комнату к Омеру и украл несколько страниц из его рукописи, украл из чистого любопытства вначале, даже не думал вначале красть, хотел просто посмотреть. Но потом читать было темно, и глупо было ждать, пока кто-нибудь обнаружит моё присутствие. И ещё потом

оказалось, что на этих страницах письмо, возможно весь роман был из писем, но скорее нет, это я так никогда и не узнал. А ровно в тот вечер мне надо было написать письмо, которое никак не удавалось написать, и я решил — раз уж всем так нравится, как пишет Омер, наверное, и письма его должны нравиться больше чем обычные письма, так ведь? И смешно сказать, что я не ошибся, как можете видеть, я не ошибся!

Закончив говорить, он и вправду засмеялся, вздрагивая всем телом и судорожно моргая обоими глазами.

Принцесса прикусила краешек нижней губы и нахмурила лоб, пытаясь понять то, что сказал ей Гвенаэль. Она вопросительно посмотрела на Омера, тот молчал, она опустила глаза и продолжала думать, и вдруг с ней что-то произошло, непонятно, как это можно описать — у Омера было ощущение, что у неё внутри что-то сломалось, во всяком случае и ему, и Гвенаэлю стало ясно, что она наконец поняла и поверила в сказанное. Глаза её наполнились слезами, она резко мотнула головой и побежала быстро по набережной, прочь от Раджафера и Варанга. Омер попытался было что-то сказать ей, но она обернулась и крикнула:

— Я не хочу вас видеть, вас обоих, не хочу больше видеть ни тебя, ни его!

Отчаяние в её глазах в этот момент было столь выразительным, что Омер замолчал и стоял в оцепенении до тех пор, пока она не скрылась из виду. Гвенаэль сделал неловкий шаг в сторону воды, и чуть не свалился в неё, в последний момент сумев удержать равновесие и даже не набрать воды в ботинок. Потом он быстрым шагом ушёл, кажется, в сторону противоположную той, куда убежала принцесса. Точно Омер не мог потом припомнить, потому что окончательно он пришёл в себя только тогда, когда ни Альсбеты, ни Гвенаэля уже не было видно.

Он побрёл домой. Красные, зелёные, и синие рыбки плескались в Кортеевевке и даже иногда выпрыгивали из воды, но Омер шёл, абсолютно их не замечая. Он не видел также, что некоторые из появившихся на набережной прохожих пытались с ним поздороваться — он шёл задумавшись, ни на что не глядя, и ему хотелось как можно скорее оказаться дома.

2.4. О том, к чему может привести необычайно жаркая погода

Несмотря на все перипетии этого дня вечером Омер вспомнил, что ему пора показаться в институте. Его весьма беспокоили разные вещи, происходящие там в последнее время, особенно людоедские планы двух Филипонов по отношению к визитёрам и постдокам. На сегодняшнем собрании профессоров должны были как раз обсуждаться будущие визитёры, так что стоило там показаться и постараться воспрепятствовать осуществлению этих планов.

С другой стороны здесь тоже неприятностей и дел хватало, он упрекал себя за то, что он не сумел поговорить с Альсбетой после того, как она узнала об украденном Гвенаэлем письме. Надо было бы как-то её утешить, может быть и сейчас ещё не поздно найти её и как-то объяснить ей эту скверную историю? С другой стороны, это скорее Гвенаэль должен в этой ситуации объясниться с ней, ему-то что ей теперь сказать? Но, вспоминая слезы в глазах принцессы, ему становилось настолько не по себе, что он бы наверняка бросился её искать, если бы не боялся, что после происшедшего ей может быть неприятно с ним встречаться.

Потом ещё была завтрашняя встреча с премьер-министром, наверное, стоило бы к ней подготовиться. Но в конце концов он решил, что оставлять без присмотра двух Филипонов тоже слишком опасно, поставил будильник, чтобы не проспать утром встречу с Конфуцием, и с нелёгким сердцем заснул.

Проснулся он не в институте и не у себя дома, как это бывало обычно, а в каком-то пригороде. Сначала он даже не понял, где он находится — он стоял посреди негустого хвойного леса, ничем, на первый взгляд, не примечательного. Но вскоре он заметил огромные камни, раскиданные между деревьев, и после этого сразу узнал это место, хотя ему нечасто приходилось здесь бывать. Он вышел на большую дорогу, идущую через лес, на ней оказалось много гуляющих людей, но ему уже не надо было у них спрашивать, как пройти дальше — он знал, всего несколько минут ходьбы, и он окажется на железнодорожной станции.

День был очень жарким, и от этого люди на платформе выглядели усталыми, и маленькие дети капризничали больше обычного. Омер почувствовал, что в голове от жары возникает неприятная тяжесть. Стоило, наверное, купить бутылку минеральной воды, но он не догадался это сделать. Здесь, по эту сторону было много довольно обычных вещей, которые он никогда не делал — так, покупка минеральной воды в станционных автоматах совершенно не входила в его привычки.

К счастью, электричка подошла довольно быстро. Он сел в неё и начал раздумывать о том, как бы поскорее со всем здесь разобраться и вернуться обратно. Если ему повезёт, то он успеет ещё попасть в институт, быстро со всем разделаться и вернуться назад, надо ни в коем случае не опоздать на свидание с Конфуцием, всё ещё получится, — сказал он сам себе, но на этой его мысли электричка по непонятной причине остановилась посередине перегона между станциями. Водитель по репродуктору несколько раз объявил, что через пару минут она поедет дальше, но прошло не меньше четверти часа, а поезд по-прежнему не двигался.

Омер понял, что теперь ему точно не успеть обернуться быстро, к тому же он всё равно уже скорее всего опоздает на сегодняшнее собрание в институте. Он подумал, бог с ним с институтом, всё равно это не моя вина, что я туда не успеваю, надо ни с чем возвращаться обратно, потому что я обещал премьер-министру, и ещё потому что там Альсбета, что мне делать с Альсбетой?

Он попытался задуматься о математике, чтобы вернуться, но из-за духоты в вагоне было трудно сосредоточиться. В конце концов ему удалось вспомнить задачу, которой он занимался последний месяц. Всерьёз о ней думать он ещё не начал, только размышлял для разминки о том, нужно ли в её постановке требовать, что ϕ не равняется нулю, когда внезапно за его спиной зазвучало громкое пение.

Он оглянулся и увидел, что пела немолодая негритянка, полная невысокая женщина с большими и немного сумасшедшими глазами. Низким красивым голосом она несколько раз пропела что-то вроде:

... and then he approached me and touched me ...

Омер следил за недовольными и смущёнными лицами пассажиров и спрашивал себя, что их больше всего смущает, сам факт, что женщина поёт, или чувственность её песни?

Но в этот момент женщина ещё громче запела: «Аллилуйя! Аллилуйя!» и Омер понял, что неправильно интерпретировал до этого содержание песни, которая, по всей видимости, была каким-то известным христианским гимном.

В общем, всерьёз подумать о математике в электричке так и не удалось. Когда Омер приехал в институт, был уже вечер. Собрание давно должно было закончиться, но он надеялся увидеть директора и предупредить хотя бы его о людоедских замыслах двух Филипонов. Но оказалось, что директор — как впрочем и все остальные — уже давно ушёл домой.

С одной стороны, надо было теперь ждать до завтра, с другой стороны, события там, по ту сторону, очень его беспокоили, было слишком рискованно оставаться здесь ещё целую ночь. Поэтому он снова решил не ждать, а вернуться, но понял, что очень голоден и не может сосредоточиться на математике пока не поест. Он жил недалеко от института, так что заход домой не представлял большого труда и не должен был его слишком задержать.

Придя домой, он обнаружил, что холодильник был почти что пуст. В нём стояла только бутылка молока, да и оно оказалось совершенно прокисшим, хотя дата на бутылке ещё не была просрочена. Он только в этот момент понял, насколько сильной была жара, даже холодильник из-за неё плохо работал.

В буфете Омер нашёл банку растворимого супа марки «Brownian Loop», того самого, который Младен когда-то не советовал есть Константину. Обычно Омер был очень непривередлив в еде и его почти всё что угодно устраивало, но всё же в такую жару есть консервированный суп у него не было сил.

У него начинала болеть голова, как бывало с ним почти всегда, если долго не поест. Поэтому он всё-таки залил кипятком стаканчик растворимого супа, надеясь, что ужин поможет головной боле. Но, размешивая ложкой комок из петелек плохо размокшей лапши, он понял, что не в состоянии её есть.

Мигрень продолжала усиливаться, так что думать о математике стало совсем невозможно, он с грустью подумал сквозь головную боль: принцесса, встреча с премьер-министром — и рухнул, не раздеваясь, на постель. К счастью, мигрень на этот раз оказалась той разновидностью мигрени, которая проходит, если лежать не шевелясь и ни о чём не думая. Он заснул, и проспал всю ночь, и потом ещё всё утро, до самого полудня.

Он спал глубоким беспробудным сном без сновидений и не слышал шагов соседей этажом выше, которые вставали несколько раз за эту ночь, чтобы достать из холодильника холодные простыни — кто-то подсказал им этот действенный, но не долгосрочный способ бороться с жарой, без него им вообще не удавалось уснуть — он не слышал утром крики, смех, и лай во дворе, когда дети сторожа поливали водой из пожарного крана лохматую дворняжку, он не слышал даже как соседка за стеной его спальни очень громко включила телевизор, и там рассказывали о том тоже, как поливают из пожарных шлангов, правда не собак, а стены атомных электростанций.

Когда он, наконец, проснулся, он с радостью отметил, что мигрень совершенно прошла. Но вместо мигреновой тяжести в голове была теперь какая-то необычная горячая пустота. Он не стал завтракать, только попил воды и пошёл в институт, по дороге встретил директора, мельком с ним поздоровался, и даже не вспомнил о том, что у него к нему есть важное дело. Директор хотел спросить Омера, почему тот пропустил вчерашнее собрание, возможно упоминание о нём навело бы Омера на мысли о людоедстве, двух Филипонов и всём остальном, но было жарко, у директора было много важных дел, останавливаться и разговаривать ему не хотелось, поэтому он в итоге ничего не спросил, только кивнул Омеру в знак приветствия и ушёл в сторону административного здания.

Омер же зашёл в научное здание. В его кабинете тоже оказалось жарко, но всё же прохладнее, чем на улице, и мысли потихоньку стали возвращаться. Он с беспокойством подумал: Альсбета, бывший премьер-министр, но ещё не успел толком вспомнить, что именно ему предстояло сделать с премьер-министром и в чём именно была проблема с Альсбетой, как в дверь его кабинета громко постучали. Он ответил своим обычным задумчиво-рассеянным голосом: «Да, войдите», после чего в кабинет вошёл ему незнакомый молодой человек и заявил, что хочет рассказать Раджаферу о своей работе по теории струн. Омер попытался возразить, что ничего не понимает в теории струн, почему бы ему не поговорить лучше с профессором Франклином или профессором Белинским? Но молодой человек уверенно отклонил эти возражения, сказал, что хочет поговорить именно с ним, Раджафером, и начал увлечённо излагать свои последние результаты. Омер пытался вначале понять то, что он рассказывал, но это ему плохо удавалось, к тому же в какой-то момент, заглушая слова рассказчика, в голове стало раздаваться странное звяканье, «дзинь-дзинь, трынть-трынь-трынь». Ему казалось, что этот звук

ему очень хорошо знаком, но он не мог вспомнить откуда, что-то продолжало звенеть не то жалобно, не то требовательно «дзинь-дзинь-дзинь-дзинь». У Раджафера начинала снова болеть голова, у него не было сил вспоминать, что означает это позвякивание, и он лениво подумал: это просто звенят струны в формулах на доске. Действительно, молодой человек исписал тем временем своими формулами почти всю доску, и Омер совсем уже перестал понимать то, что он писал. Он хотел снова сказать молодому человеку, что ему всё-таки стоит поговорить с профессором Франклином, но ему не удавалось вставить и слово в быструю и увлечённую речь рассказчика. Даже просто спросить, что обозначают символы на доске, за которыми он давно перестал следить, не было никакой надежды.

Его спас приход системного администратора, который искал профессора Кон Фу дзе и зашёл спросить, не видел ли его Раджафер сегодня утром в институте. Кон Фу дзе Омер не видел, но он воспользовался этим разговором для того, чтобы попрощаться с молодым физиком. После чего облегчённо вздохнул и пошёл в библиотеку посмотреть на новые поступления.

Как всегда по утрам в библиотеке было довольно много посетителей. Только вот выглядели они как-то не так, как обычно. Даже Раджафер, который по эту сторону не имел обыкновения обращать слишком много внимания на окружающих его людей, заметил эту перемену. Почти все, сидевшие в читальном зале, были какими-то подозрительно толстенькими, некоторые даже почти кругленькими, и у многих на лицах был яркий розовый румянец. Нигде не было видно, столь часто встречающихся среди математиков, отрешённых бледных лиц со впалыми сверкающими глазами.

«Я совсем потерял голову с этой жарой, — с внезапным ужасом подумал Раджафер. — Моррис и Мэйли! Им таки удалось пригласить в институт наиболее упитанных и аппетитных визитёров! Я думал, что решающее собрание было только вчера, но видимо, я что-то перепутал. Или может быть два Филиппа, Мэйли и Моррис, сплели свои интриги так ловко, что им удалось позвать этих людей в институт минуя общественное собрание. Что же теперь делать? Предупредить этих визитёров?» Но нелепо подходить к незнакомым людям и говорить им: «Держитесь подальше от профессора Мэйли и профессора Морриса». Тем более что они точно не станут его слушать, если это именно Мэйли и Моррис их сюда пригласили, не говоря уж о том что он, Раджафер, имеет в институте репутацию довольно чудаковатого типа. Что-то всё-таки надо сделать. Поговорить с директором? Но разговоры с ним всегда требовали достаточной дипломатичности, и ему не удавалось сейчас придумать, как следовало бы правильно изложить столь деликатную ситуацию. Вариант прийти и сказать: «Мэйли и Моррис могут съесть наших визитёров» явно не подходил, а ничего другого ему не приходило в голову.

Вообще-то, с другой стороны, это была какая-то ерунда. Ведь *здесь* оба Филиппа вовсе не должны были быть людоедами! «Здесь» — что значит «здесь»? Мысли в голове у Омера путались. У него было ощущение, что большая часть происходящих в последнее время событий как-то связана с сегодняшней жарой и его головной болью, но каким образом — он не мог себе объяснить. Как бы то ни было, с находящимися в опасности визитёрами надо было быстро что-то делать.

Впервые за всю свою жизнь Омер жалел об ограниченности своего влияния в ИВНИ. Он даже пробормотал себе под нос что-то вроде: «Вероятно, стоило всё-таки тогда, 15 лет тому назад, опубликовать мой препринт о нулях дзета-функций!» Как бы то ни было, теперь об этом было поздно сокрушаться. И, хотя Омер и так пользовался в институте немалым уважением, он чувствовал, что сейчас этого недостаточно и что одному ему не справиться со сложившейся ситуацией.

Может, поговорить с кем-нибудь из наиболее надёжных профессоров? Пару лет назад в институте было несколько человек, которым он мог доверять, но большинство из них недавно уехали. Оставался, правда, профессор Кон Фу дзе, но, во-первых, он был на пенсии, а, во-вторых, он физик, и ему трудно вмешиваться в дела, связанные с чисто математическими визитёрами.

И всё-таки он очень обрадовался, когда увидел через несколько минут входящего в библиотеку Кон Фу дзе.

— Вас искал мистер ван дер Палс, опять не работают почти все компьютеры, — сказал Раджафер, вскочив ему навстречу. — И, к тому же, есть нечто гораздо более важное, чем компьютеры ...

У профессора Кон Фу дзе вид был такой, как будто он куда-то очень торопился.

— Я в курсе, и почти всё уже исправил, — ответил он Раджаферу, не дав последнему закончить свою фразу.

— Но дело не только в компьютерах ...

— Я знаю про все проблемы, некомпьютерные тоже. Не беспокойтесь, Омер, — тут Кон Фу дзе улыбнулся и, несмотря на свой озабоченный вид, с совершенно несвойственной ему непосредственной и дружеской интонацией добавил: — Так что вы можете идти и спокойно заниматься математикой, Омер.

Последняя фраза звучала в его устах довольно странно, тем более что он произнёс её с некоторым нажимом. Можно было подумать, что он зашёл в библиотеку только для того, чтобы её сказать, потому что произнесё слова «Вы можете идти и спокойно заниматься математикой, Омер», Кон Фу дзе, не глядя ни на книжные, ни на журнальные полки, стремительным шагом вышел из читального зала и скрылся за поворотом коридора, ведущего к выходу из института.

«Что-то сегодня со мной не так, — в который раз подумал Раджафер. — От жары совсем путаются мысли».

Но он послушно вернулся в свой кабинет, сел за письменный стол, задумался — и на этот раз даже быстрее, чем обычно — щёлк, что-то вспыхнуло в его глазах, и после этого его мысли были уже очень далеко и от жары,

и от института, и от всего, с ними связанного.

2.5. Пробуждение

Он проснулся и сразу понял, что ужасно проспал. Было очень тепло и душно, потому что он забыл открыть окно, ложась спать — его комнатка была крохотной и находилась под самой крышей, обычно летом он держал окошко открытым и днем и ночью, во всяком случае тогда, когда был дома.

Потянулся рукой к часам — 8 часов, не понятно только, утра или вечера. Обычно это сразу ясно по звукам с улицы, утренний шум не спутаешь с вечерним гулом, но сегодня было необычайно тихо. Будильник стоял на шести часах. «Неужели он не прозвонил?» — с грустным упрёком подумал Омер, но тут же вспомнил про звяканье во время разговора про теорию струн и понял, что нечего было винить будильник. Он звенел вовремя, это он, Омер, не проснулся, несмотря на звон.

У него было ощущение, что спал он безумно долго, может быть больше, чем целые сутки. Но даже если он проспал всего одну только ночь, всё равно он опоздал на свидание с бывшим премьер-министром Конфуцием. Одно это уже было достаточно скверным. Но ещё мучительнее, чем мысль об этом опоздании, было для него воспоминание об Альсбете. Он ведь так и не поговорил с ней с тех пор, как она убежала в слезах после разговора об украденном Гвенаэлем письме.

Но всё-таки прежде всего следовало встретиться с бывшим премьер-министром и узнать, как обстоят дела в городе и нашёл ли он средство противостоять власти императора Р. ле Кина.

Он позавтракал ломтиком яблока с рябиновым вареньем (он был голоден, но на большее не было времени), вышел из своей мансардной квартирки, спустился опрометью по лестнице, выбежал из Кошачьего переуллка и быстрым шагом направился в сторону площади Александра.

Он так торопился, что не сразу заметил, что улицы вокруг него выглядят очень странно. По солнцу, неторопливо встававшему за Белой горой, он понял, что сейчас утро, где-то начало девятого, должно быть.

Обычно как раз в это время открываются булочные и съестные лавки, и улицы наполняются гулом голосов, шумом шагов, шелестом газет и звоном молочных бидонов.

Но этим утром всюду стояла абсолютная тишина, и на всём пути от Кошачьего переуллка до площади Александра ему не встретился ни один прохожий.

Он со страхом подумал: я всё проспал, и тем временем император сделал с городом что-то ужасное. Но всё-таки как могло получиться, что все люди куда-то исчезли? Он ускорил шаги, и почти бегом добрался до площади, на которой жил бывший премьер-министр.

Площадь тоже была пустынной. Скульптура рогатой сферы выглядела необычно и немного устрашающе: днем ведь почти всегда на ней сидит огромное количество голубей, но сегодня их не было. Омер в этот момент понял, что по дороге он не видел не только ни одного человека, но и ни одной птицы тоже.

Он столкнулся с премьер-министром в дверях его дома и, даже не поздоровавшись, спросил:

— Что случилось? Куда подевались все люди и птицы? Я спал и не мог проснуться, даже не знаю, сколько дней я проспал — всё так изменилось за время моего сна. Можно ли ещё что-то сделать? Можно ли ещё как-то всё это поправить? Ведь люди — они не на совсем исчезли, правда?

У Конфуция вид был чем-то озабоченный и немного грустный, но услышав встревоженные вопросы Омера он не удержался от улыбки.

— Никто не исчез, просто все спят, — ответил он. — Все будет спать ещё почти целых два часа. Хорошо, что вы наконец пришли, Омер, я уже думал, что всё придётся делать самому, без вашей помощи. Кстати, я заходил к вам сегодня рано утром и долго стучал в вашу дверь, но никто не ответил, и я думал, что вас не было дома. Но пойдёмте, нельзя терять время.

Только теперь Омер заметил, что на подоконнике углового окна дома Конфуция лежала кошка Гафа. Она спала, свернувшись комочком, так что ни больших жёлтых глаз, ни белого пятнышка не шее не было видно, просто круглый комок чёрной пушистой шерсти. В другое время Омер подумал бы, что небезопасно её так оставлять из-за приказа Р. ле Кина об отлове кошек, но сейчас он был настолько ошарашен всем происходящим, что не успел об этом подумать, и просто послушно последовал за бывшим премьер-министром.

Первые минуты он шёл молча, смущённый торжественной серьёзностью на лице у Конфуция, но потом не выдержал и снова стал его расспрашивать:

— Но что мы теперь должны делать? Р. ле Кин и его стража тоже уснули, или нет? Как вам удалось всего этого добиться? Вы нашли в итоге ту книгу с заклинаниями, о которой вы мне рассказывали раньше?

— Это не совсем заклинание, — ответил Конфуций. — Но нужную книгу я, действительно, нашёл и прочёл в ней то, что следовало сделать. В дворцовую библиотеку попасть было невозможно, но, к счастью, книга оказалась также и в научной библиотеке.

— Но ведь научная библиотека была закрыта недавним приказом императора?

— Да, она теперь закрыта, но мне помог министр Пьерро, раньше он ведь был министром образования, и у него сохранился ключ от неё.

— Министр Пьерро? — не поверил своим ушам Омер. — Новый премьер-министр в правительстве Р. ле Кина? Оказывается, он тоже против императора?

— Вы не понимаете, он не против императора и не за императора. Просто он рождён быть министром, и никогда не откажется от этого поста, какие бы ни были времена, какие бы ни формировались правительства. Но он серьёзный человек, всегда уважавший науку — в конце концов, бывшая его должность к этому обязывала. Поэтому когда я сказал, что ищу книгу по зеркальной симметрии, он сразу вспомнил, что она была в научной библиотеке, и сам мне предложил ключ от этой библиотеки.

— Зеркальная симметрия, — задумчиво произнёс Омер. — Когда-то меня немного интересовала эта наука. И что же вы прочли в найденной книге?

— То, что надо было сделать, оказалось довольно несложным. В зеркальном магазине на Старой Торговой улице я купил круглое зеркало 9,8 дюймов в диаметре, потом пошёл в часовой магазин и, дождавшись полудня, поднёс зеркало к циферблату часов в витрине, помните, там всегда в витрине стоят старинные часы с круглым циферблатом и без минутной стрелки. Число XII, отразившись в зеркале, превратилось в IX, и мгновенно все остальные часы тоже перепрыгнули на 8 утра, люди попрятались по своим домам, мыши — по своим норам, птицы — по своим гнёздам, и всё уснуло. И у нас теперь есть 4 часа, пока время не вернётся обратно к 12-ти, и за эти два часа нам надо попасть во дворец и увидеть императора.

— Но мы идём вовсе не в сторону дворца? — удивлённо заметил Омер, в то время как они вышли на набережную и собирались перейти реку Кортееговку по Горбтому мосту. — Ведь времени у нас немного, если стражи и придворные тоже спят, что нам мешает просто пойти туда и спокойно войти во дворец?

— Стражи, наверное, спят. Но вы забыли про чёрных свиней вокруг дворца, — возразил ему министр. — Я не знаю, спят ли сейчас чёрные свиньи, но даже если они и спят, чёрная свиная лихорадка может быть заразной даже во время их сна.

В этот момент Омер увидел, что они подошли к зданию аптеки. «Вряд ли мы сможем найти здесь лекарство от свиной лихорадки, — подумал он. Все эти листья ландыша, корни боярышника и тёртые мумии помогают в лучшем случае от простуды или зубной боли, но при серьёзных болезнях от них мало толка. Если бы существовало лекарство от чёрной свиной лихорадки, император, наверное, уже давно не был бы таким могущественным».

Но всё же Омер поднялся вслед за Конфуцием по лестнице — две ступеньки, 3 ступеньки побольше, поворот, 5 ступенек, ещё поворот, 7 ступенек, крылечко с выложенным лазурным песчаником правильным 17-ти угольником — и вошёл в аптеку.

Он всегда раньше считал, что из маленькой прихожей есть только одна дверь — та, что вела в основной аптечный зал. Но премьер-министр отодвинул большую каменную ступку, в который помощник аптекаря смешивает обычно порошки для приготовления лекарств, и оказалось, что под ней в полу есть тоже что-то вроде дверцы. Надо было потянуть за железную заржавевшую ручку, и тогда открывался вход в подвал аптеки.

Они спустились по шаткой приставной лестнице, и Омер увидел, что они находятся посреди аптечного склада. Так же как и наверху в аптечном зале стены были покрыты полками с фарфоровыми банками, только многие из них были менее яркими, чем в зале наверху, и тоже на каждой банке цветными выпуклыми буквами было написано название содержащегося в ней снадобья.

В помещение было темно, свет падал только через дверцу в потолке, через которую они только что вошли. К счастью, на одной из полок лежала свечка и спички, Конфуций зажёл её и повёл Омера дальше — из этой подвальной комнаты начиналась другая лестница, уже не приставная, а обычная. Они спускались всё ниже и ниже, и на каждом этаже были тёмные комнаты и полки, заставленные лекарствами.

Но вид помещений менялся. Деревянные полки с какого-то момента стали меньше, но теперь они были аккуратно покрашены, и на них вместо больших фарфоровых банок стояли коробочки и пузырьки.

Они спустились ещё ниже, и пузырьки тоже исчезли, а на коробочках теперь были наклеены ярлычки с названиями лекарств. «Аспирин» — прочёл на одной из них Омер слово, знакомое ему только по жизни по другую сторону сна.

Потом ещё одним этажом ниже коробочки стали цветными, названия на них были теперь всегда напечатаны, а не написаны от руки. Одна из полок была полностью занята коробочками с надписью «Пенициллин», Омер хотел рассмотреть её получше, но премьер-министр кивком головы дал ему понять, что надо продолжать спускаться.

Пройдя ещё один лестничный пролёт они оказались в помещении, которое по размеру было больше, чем все предыдущие, и различных лекарств в нём было столько, что Омер даже не попытался запоминать их названия. Эта комната была последней, лестница здесь кончалась, зато в одном из её углов находилась дверь лифта.

Конфуций задул свечку, она больше не была нужна, так как всё было ярко освещено находящимися под потолком синими продолговатыми лампами.

Лифт находился уже прямо на этом этаже, они вошли в его кабину, и Омер удивился, как много в ней было разных кнопок: были, как обычно, «1», «2», «3», ..., но были также и «-1», «-2», «-3», ..., были кнопки, помеченные буквами, или буквами с цифрами: «G2», «E7», «E8». Были также кнопка «Р» и кнопка «NP». Омер подумал, что для того чтобы узнать, равны ли Р и NP, надо просто по очереди нажать эти две кнопки и посмотреть, приедет ли лифт на один и тот же этаж или нет. Но в этот момент бывший премьер-министр

нажал кнопку «-273», и лифт начал плавно двигаться вниз.

Омер подумал: ладно, меня никогда всерьёз не интересовала задача про NP. Лифт в это время набирал скорость, он спускался всё быстрее и быстрее, у Омера захватило дыхание и ему стало казаться, что они не едут, а падают. Но к счастью в конце концов лифт стал замедляться, и остановился, как ему и полагалось, на минус двести семьдесят третьем этаже.

Выйдя из лифта, они оказались в маленьком коридорчике, перед дверью с надписью: «Лаборатория. Посторонним вход воспрещён». Бывшего премьер-министра несколько не смутила эта надпись, он уверенно постучал, и приятный голос ответил из-за двери: «Да, да, входите, я вас уже ждал».

Они вошли, и оказалось, что голос принадлежал молодому человеку в белом халате, который сидел, склонившись над микроскопом. Комната, в которой они находились, была довольно маленькой, и вся она была заставлена какими-то колбочками и множеством сложных приборов, по большей части Омёру неизвестных.

— Вот и вы, наконец, — воскликнул молодой человек, увидев Кон Фу дзе и Раджафера. — Можете меня поздравить, полчаса назад я выявил вирус, отвечающий за чёрную свиную лихорадку!

— То есть последнее препятствие для входа во дворец преодолено? — спросил бывший премьер-министр.

— Ну, этого я бы не сказал. Вирус я выявил, смотрите, вот как он выглядит, — сказал биолог, протягивая Конфуцию и Омёру лист с довольно сложной картинкой. — Но одно дело, выявить вирус, а другое дело, найти против него лекарство, если оно, вообще, существует.

— Можно ведь ещё попытаться придумать против него вакцину? — неуверенно спросил премьер-министр.

— Да, я думаю, это реально, но её изготовление займёт в лучшем случае несколько месяцев. У меня есть некоторая идея...

— Несколько месяцев, — перебил его министр. — В нашем распоряжении есть только несколько часов. И, вынув из кармана часы на золотой цепочке, он прибавил: 3 часа, 14 минут и 16 секунд, если быть более точным.

В это время Омер, разглядывая лист со схемой вируса, пробормотал: «Где-то я уже видел эту картинку».

— Что-то математическое? — спросил его Кон Фу дзе. — Постарайтесь вспомнить! Вы ведь почти единственный, кто и здесь, по эту сторону, может помнить про математику.

Омер несколько минут очень внимательно смотрел на картинку, но вспомнить ему не удавалось.

— У меня что-то последние дни не то с головой, — пожаловался он. — Мне кажется, я вообще сейчас про математику не могу думать.

— Но это очень важно, Омер, попробуйте ещё, — настаивал бывший премьер-министр.

Тогда Омер снова посмотрел на схему вируса и задумчиво пробормотал: «dessins d'enfants».

— Детский рисунок? — удивлённо переспросил биолог. Сложная аккуратная схема на листе бумаги совсем не была похожа на что-либо, нарисованное ребёнком.

— Есть, кажется, такое математическое понятие, — объяснил ему Конфуций. — Но это совсем не по моей специальности, так что кроме самого термина я ничего про это не знаю. Омер, постарайтесь, вы должны вспомнить и объяснить нам, в чём смысл этого детского рисунка.

— Кажется, я просто видел его в каком-то учебнике как пример рисунка с маленьким полем определения, — ответил Омер, задумавшись, но потом мотнул головой и добавил: «Нет, я ничего не помню».

— Подумайте ещё Омер, я ведь действительно про это ничего не знаю, — сказал бывший премьер-министр. Единственная надежда на вас. Что такое поле определения?

— Я не помню, — сказал Омер. — Поле определения... Он закрыл глаза и изо всех сил постарался сосредоточиться. — Поле определения, пробормотал он, не открывая глаз. Поле... Кажется, я что-то вспоминаю.

Биолог и бывший премьер-министр посмотрели на него с надеждой.

— Что вы вспоминаете? — спросил Конфуций.

Казалось, что Омер находится в некоторой прострации. — Поле, — произнёс он очень задумчивым голосом. — Поле... Это, кажется, когда на плоской местности растёт много травы или колосьев...

— Это мы и сами знаем, — в голосе Конфуция, обычно неизменно спокойном, прозвучала некоторая досада. — Время идёт, надо что-то делать, осталось немногим больше трёх часов до того, как стрелка часов заново дойдёт до XII и всё проснётся.

— Если бы я мог заснуть, полистать книжки в моем кабинете, а потом снова вернуться сюда, то я бы вам объяснил, что означает этот рисунок, — сказал Омер.

— В течении этих четырёх несуществующих часов всё спит, но тот, кто не спит, уже не может заснуть, — возразил бывший премьер-министр.

— Глупости, — не слишком почтительно перебил его биолог. — С хорошим сновторным кто угодно заснёт, даже сейчас. Давайте, я сделаю Омёру инъекцию, он поспит немного, а потом нам всё расскажет.

Бывшему премьер-министру эта мысль не очень понравилась, но после короткого спора он всё-таки согласился.

Биолог открыл небольшую дверцу в стене и оказалось, что за ней находится холодильник. Он достал оттуда какую-то ампулу и сделал Омёру укол, после чего тот моментально уснул.

Пока он спал, молодой человек снова сел что-то рассматривать под своим микроскопом, а Конфуций сидел молча и о чём-то думал, стараясь не мешать его работе.

Прошло чуть меньше часа, когда они решили, что Омера пора разбудить.

— Подождите, я сварю кофе, а то ему трудно будет проснуться после снотворного и такого короткого сна, — сказал биолог, зажёл небольшую газовую горелку, на которой обычно кипятят в пробирках химические вещества, достал из стенного шкафа маленькую кофейную джезвочку и поставил её на огонь.

— Это не противоречит правилам безопасности, готовить еду, или, вернее, питьё, прямо в лаборатории? — удивлённо спросил Конфуций, но биолог в ответ только устало махнул рукой и сказал:

— Будите Вашего друга, кофе сейчас будет готов.

Омер, едва открыв глаза, поспешил сообщить им то, что он узнал.

— Ничего особенного про этот рисунок мне выяснить не удалось. Он, действительно, просто приведён как пример в одном учебнике по «dessins d'enfants». Его орбита под действием группы Галуа \mathbb{Q} над \mathbb{Q} состоит из трёх элементов, два других элемента орбиты тоже были нарисованы в книге, которую я смотрел.

И, сделав несколько глотков кофе, Омер взял чистый лист бумаги и нарисовал на нём два рисунка, сопряжённых с изначальным под действием группы Галуа.

— Это невероятно! — воскликнул биолог. — То, что вы нарисовали, это тоже схемы вирусов, первый — оспы, второй — обычной свинки! У меня и раньше были некоторые мысли о возможной связи вируса с оспой, но вот про свинку я не подозревал! Теперь я почти уверен, что смогу изготовить вакцину против лихорадки — вернее, даже ничего по настоящему нового изготавливать не надо — учитывая наше знание механизмов вакцины против свинки и вакцины против оспы.

— Даже названия сходятся, — пробормотал себе под нос бывший премьер-министр. — Чёрная свиная лихорадка: свинка и чёрная оспа!

Биолог тем временем снова открыл маленький холодильник в стене, и Омеру на этот раз лучше удалось рассмотреть его содержимое. На трёх небольших полках теснилось огромное количество баночек, ампул и коробочек с какими-то химическими веществами, но Омеру показалось также, что в дверце холодильника лежало нечто очень похожее на небрежно завернутый в бумагу кусок полусохшего сыра. Молодой человек достал две ампулы, одну с совершенно прозрачной, другую с зеленоватой жидкостью, потом закрыл холодильник и взял с полки над входом какой-то порошок. Он вернулся к своему столу, повернул небольшую ручку на стене слева от себя, после чего казавшаяся до этого частью стены пластинка откинулась вниз, и они увидели встроенный в стену прибор, который, судя по его виду, был самым новым и современным из всех находившихся в комнате приборов. Биолог нажал одну за другой три кнопки на его верхней панели, после чего их стены выскочили три ящичка, два из которых явно были предназначены для ампул. Молодой человек засыпал в первый из ящичков взятый им до этого порошок, вставил ампулы в два других, после чего задвинул их обратно в стену. (Омер отметил с удивлением, что до этого он даже не открыл казавшиеся запаянными ампулы). Биолог же склонился над находящейся на нижней панели прибора клавиатурой, быстрым движением нажал довольно длинную комбинацию клавиш, и сообщил, обернувшись обратно к Омеру и Конфуцию, что через несколько минут новая вакцина будет готова.

Действительно, уже через несколько минут из прибора выскочила пробирка, наполненная какой-то жидкостью, на этот раз не зеленоватой, но и не прозрачной, светлой, но немного мутной.

— Вам, кстати, очень повезло, что я недавно открыл способ делать вакцины, которые действуют очень быстро, — объяснил биолог Омеру и Конфуцию. — Сейчас я сделаю вам обоим по прививке, и уже меньше, чем через час, вы будете иммунны к чёрной свиной лихорадке.

После прививки премьер-министр и Омер поблагодарили молодого биолога и отправились в путь. Они сели в лифт, который вверх шёл ещё быстрее, чем спускался, потом поднялись по узкой лестнице, проходя все те же комнаты с лекарствами, которые они уже видели при входе, и через аптечную дверь вышли на набережную.

На улице по-прежнему было необычайно тихо, только изредка в воздухе раздавался еле слышный звук, напоминающий звон фарфора. Всю дорогу они шли молча, было как-то неловко нарушать столь совершенную тишину, и только уже подойдя к дворцовому холму Омер произнёс:

— Оказывается, свиньи тоже спят.

Действительно, склоны холма и площадь перед дворцом были заняты чёрными свиньями, которые лежали и спали, некоторые тихонько похрюкивая во сне.

Конфуций и Омер подошли к главным воротам, осторожно выбирая при каждом шаге, куда поставить ногу — тревожить свиней, даже спящих, им было как-то не по себе — и вошли во дворец.

Обычно площадка перед парадной лестницей охранялась большим количеством до зубов вооружённых охранников, но сейчас никого из них не было видно.

Они поднялись по лестнице, прошли по парадному коридору, столь же пустынный, как и вход во дворец, и вошли в Старый Императорский зал (который до прихода Р. ле Кина к власти назывался Старым Королевским или попросту Зеркальным залом). Потом из него прошли в Малый Весенний зал, тот самый зал, который всегда казался очень высоким потому, что голубой потолок его был очень похож на небо. Только тут Омеру пришёл в голову вопрос, о котором он мог бы подумать и раньше.

— А что, собственно, мы собираемся делать с Р. ле Кином? Он, конечно, совершил много нехороших вещей — отловил кошек, запретил театральные представления — но всё-таки несмотря на это я не готов к тому, чтобы

совершить какое-либо серьёзное насилие по отношению к нему.

— Насилие? — переспросил бывший премьер-министр, и если бы не его всегдашний спокойный голос, можно было бы подумать, что он несколько шокирован. — Насилие? Конечно, нет, Омер, следуйте за мной.

Раджафер послушно двинулся вслед за Конфуцием, но подходя к дверям, ведущим в Большой Тронный зал, тот внезапно сам остановился.

— Подождите, Омер, я хочу кое-что ещё обдумать, перед тем как входить.

Он подумал вначале, что премьер-министр забыл предусмотреть то обстоятельство, что Большой Тронный зал может оказаться заперт. Обычно проход между ним и Малым Весенним залом был открыт — по крайней мере, так было во время тех немногочисленных королевских приёмов, на которых Омеру когда-то давно доводилось присутствовать — но сегодня обе створки бело-голубых высоких дверей, разделяющих Весенний и Тронный зал, были плотно замкнуты. Впрочем, разглядывая их внимательнее, Омер пришёл к заключению, что дверь просто закрыта, а не заперта. По крайней мере, с того места, где он стоял, казалось, что между двумя створками дверей остаётся небольшая щель, через которую в Малый Весенний зал просачивается полоска золотистого света. На двери или за дверью не было видно ни замка, ни задвинутого засова. Для того, чтобы в этом окончательно убедиться надо было подойти к ней поближе, но Омер не решался это сделать без указания Конфуция. Он посмотрел нерешительно в его сторону, и его несколько удивило задумчивое и, как ему показалось, довольно мрачное выражение лица бывшего премьер-министра. Было ясно, что думал тот о чём-то значительно более существенном, чем возможный засов на входе в Большой Тронный зал. И в этот момент Омер впервые за последние несколько часов наконец с полной ясностью осознал серьёзность того, что они собираются сделать, или, вернее, уже отчасти сделали.

До этого, конечно, ещё по дороге во дворец, ему становилось время от времени немного не по себе, но всё было столь необычным и совершалось в такой спешке, что у него не было практически ни одной свободной минуты для того, чтобы спокойно подумать и отдать себе отчёт в происходящем. Но вот теперь, за те недолгие мгновения, когда Конфуций почему-то нерешительно остановился перед входом в Большой Тронный зал, мысли в голове у Омера прояснились и он с ужасом подумал: Неужели мы действительно уже во дворце и собираемся вот-вот совершить нечто вроде антиимператорского переворота?! И значит, стоит допустить малейшую ошибку — и не надо большого воображения для того, чтобы представить, какая участь может им грозить, ему и бывшему премьер-министру. Неясно, конечно, сделают ли тогда их возможное наказание всем известным, в назидание остальным, или же, напротив, им достанется примерно столько же внимания, как отловленным в своё время по всему городу кошкам ... Такие мысли надо было гнать сейчас от себя прочь со всей силой. Омер никогда не был трусом, и сейчас с его стороны не было лицемерием считать, что все эти его размышления — это только в небольшой части физическим страх за его собственную жизнь. Тем не менее, он чувствовал как его пронизывает ужас.

Ужас был похож на холод: он замораживал пальцы рук, пробежал мурашками по спине, едва касался оцепеневших лодыжек и спускался в и без того уже замёрзшие ступни ног. Мраморный пол в Весеннем зале был очень холодным, Омер это отчётливо ощущал сквозь тонкую подошву ботинок, в которые он был обут. Переминаясь с ноги на ногу, он продолжал думать о том, чем, в случае неудачи, может обернуться их затея.

Действительно, дело ведь было не только в них самих, Конфуций был чуть ли не единственным оставшимся в городе благоразумным политиком. Даже не смотря на то, что он не участвовал в новом правительстве Р. ле Кина, его присутствие в городе безусловно имело смысл и, наверняка, не одному только Раджаферу внушало существенную надежду. Но теперь, если их план провалится, ни одного хорошего и сильного политика не останется, и тогда страшно подумать о том, что может начать происходить и в без того не слишком преуспевающем последнее время городе. Не было ли всё-таки с их стороны ошибкой замышлять что-либо против Р. ле Кина? Они знают уже, что бывший генерал Р. ле Кин — личность не из приятных, но знают ли они на что он может быть способен, если его разозлить или хорошенько напугать?

Размышляя, Омер оглядывал зал, в котором они находились. В какой-то момент ему показалось, что дверь, ведущая в Большой Тронный зал тихонько скрипнула, и одна из её створок немного отворилась, после чего полоска золотистого света, падающая через дверную щель в Малый Весенний зал, стала несколько шире, чем раньше. Омер скользнул глазами по этой тонкой световой дорожке, потом дальше по белому-белому мраморному полу, по бело-голубым стенам и небесно-голубому потолку. Он был очень красив, этот Малый Весенний зал, красив и полон какой-то лёгкой, действительно как будто бы весенней радостью. Было очень странно в нём находиться сейчас, когда настроение было отнюдь не весёлым и не лёгким. Надо сказать, что он даже сам не мог понять, какое именно у него настроение. До этого он привык почти всегда иметь очень чёткую картину того, что происходит вокруг, а сейчас он чувствовал тревогу и полную растерянность. Его уверенность в себе и даже его взрослость куда-то подевались, он чувствовал себя намного младше, чем он был. Этому, кроме наполнявшей его тревоги, было, возможно, ещё одно объяснение — рядом с Конфуцием почти кто угодно почувствует себя мальчишкой.

«Интересно, куда всё-таки делись императорские стражи, до сих пор мы ни одного из них не видели. Может быть, они как раз все собрались в Большом Тронном зале, вокруг Р. ле Кина?»

Омер прислушался, но дворец был тих, абсолютно тих, по-прежнему ни единого звука и ни единого шороха.

Если бы все стражи были бы в тронном зале, даже если бы все они заснули, наверняка хотя бы один из них захрапел или пошевелился во сне, и это можно было бы услышать. Свиньи ведь похрюкивали тихонько во сне, когда они мимо них пробирались.

«Даже про вакцину у нас ведь нету никакой уверенности», — внезапно подумал Омер, хотя эта мысль и казалась ему довольно ничтожной по сравнению со всеми остальными возможно грозящими им опасностями. Тем не менее, и в правду, даже насчёт вакцины у них не могло быть никакой уверенности, ведь они были первыми, на ком её испытали, и поэтому нельзя было исключить возможность того, что они всё-таки заразились чёрной свиной лихорадкой проходя, перед тем как войти во дворец, мимо дремлющих чёрных свиней.

«Но об этом уж точно сейчас без думать толку, — заключил свои размышления Раджафер, — если мы и заразились чёрной свиной лихорадкой, то это, скорее всего, мы узнаем не раньше, чем через пару дней».

— Пойдёмте, Омер, — негромко сказал в этот момент бывший премьер-министр. — Простите, я тут несколько задумался, но нам не стоит больше мешкать.

— Подождите, — возразил ему Омер, и, несколько смущённым, но в то же время твёрдым голосом добавил: Я хотел бы узнать, о чём вы сейчас думали.

Конфуций приподнял брови — едва-едва, так что по его лицу почти нельзя было догадаться об его удивлении, потом немного улыбнулся и сказал:

— Это было нечто совершенно личного порядка, к нашему делу никак не относящееся. Нелепо, наверное, что я об этом вспомнил именно сейчас.

Сказав последнюю фразу, премьер-министр сделал шаг в сторону входа в Большой Тронный зал, но увидев некоторое разочарование и недоверие на лице у Омера, он ещё раз улыбнулся краешком рта и добавил:

— Впрочем, если вы настаиваете, могу вам сказать, о чём я сейчас думал. Тут уж, во всяком случае, нет ничего секретного. Я думал о прошедшем годе. У меня есть такая привычка, каждый год, к моему дню рождения подводить небольшой мысленный итог того, что я сделал за этот год. В молодости это было более увлекательным занятием, каждый год было множество интересных новых городов, которые ты посетил, множество очень важных — или во всяком случае казавшихся очень важными — новых законов, принятых правительством. Последние же годы это всё большей частью воспоминания о встречах со старыми друзьями, которых долго до этого не видел, или, ещё вот бывает, о каком-нибудь особенно красивом или просто почему-то запомнившимся шахматном этюде.

Раньше о прошедшем годе я любил вспоминать в сам день рождения, но потом понял, что лучше всего это делать за пару дней до него. Потому что потом обычно начинается изрядная суматоха, съезжаются все мои родственники — вы знаете, весь на одной только Белой горе у меня имеется несколько дюжин кузин, племянников, племянниц, внучатых племянников и племянниц. А в этом году, я вам, кажется, уже говорил, у меня юбилей, так что шума, наверное, будет ещё больше, чем обычно ...

Омер слушал бывшего премьер-министра и не мог поверить своим ушам. В своём ли тот уме? Перед лицом страшной опасности, в момент свершения антиправительственного переворота, уже находясь в императорском дворце, он внезапно останавливается на несколько минут чтобы подумать о прошедшем годе, своём дне рождения, внучатых племянниках и даже особенно красивых шахматных этюдах?!

Или, может быть, он просто не хочет говорить Омеру то, о чём он на самом деле думал? Если так, не то чтобы это очень обижало Омера, но всё-таки казалось ему достаточно нечестным. В эту минуту, когда они вдвоём принялись за такое непростое и опасное дело, ему казалось, что было достаточно естественно рассчитывать на полную откровенность со стороны Конфуция.

И потом, наконец, ему пришло в голову объяснение, показавшееся ему более убедительным, чем предыдущие: может быть, это всё-таки правда, и вовсе на такая уж беспечность со стороны Конфуция, может быть, он именно сейчас решил подумать о близких ему людях, родных, или даже просто о разных мелочах ушедшего года, потому что через мгновение они войдут в Большой Тронный зал, и после этого им может понадобиться подвести итог не только ушедшему году, но, возможно, и всей их прошедшей жизни.

Всё равно слова премьер-министра казались ему очень странным, сам Омер чувствовал себя как будто заигнорированным, и не был в состоянии думать о чём-либо ином, чем то, что их ждёт через несколько минут.

Все эти мысли пронесли у него в голове со страшной скоростью, времени на долгие размышления у него снова не было, потому что Конфуций толкнул дверь, ведущую в тронный зал и вошёл в неё, явно ожидая, что Омер тотчас же за ним последует.

Омер подошёл к приоткрытой до этого Конфуцием двери, боясь в неё заглянуть. Глядя себе под ноги, он перешагнул через дверной порог и при этом почувствовал, что у него замирает сердце: что-то подсказывало ему, что Р. ле Кин должен находиться именно в Большом Тронном зале.

Но, войдя, он наконец поднял голову и вздохнул с облегчением и некоторым разочарованием: огромный парадный зал, в котором они стояли теперь, тоже был пуст, или, во всяком случае, казался пустым.

В первый момент у Омера немного заболели глаза от непривычного блеска — почти всё в Большом Тронном зале было золотым: стены, потолок, огромные люстры, и даже наборный паркет на полу, изображавший что-то, вроде множеств Мандельброта, помимо различных видов редкого дерева содержал также и золотые вкрапления.

Бывший премьер-министр подошёл тем временем к трону и обернулся к Омеру, ожидая, что тот тоже туда подойдёт.

Омер приблизился к огромному креслу с золотыми подлокотниками в виде голов семязычных драконов и только теперь заметил, что трон не пуст. Посередине него, на большой подушке из тёмного бархата, стояла крохотная фарфоровая фигурка.

Омер взял её в руки и увидел, что она изображает императора. Он удивлённо посмотрел в сторону Конфуция, надеясь получить от него объяснение, но тот вместо ответа только молча кивнул головой в сторону подножия трона, и Омер увидел, что на золотых ступеньках перед тронным креслом стоит ещё целое множество фарфоровых фигурок. Одни из них изображали вельмож, другие — придворных дам, но больше всего среди них было фарфоровых стражей и воинов, вооружённых фарфоровыми мечами и фарфоровыми секирами.

— И это всё, что от них осталось? — недоверчиво спросил Омер, крутя в руках фарфоровое изображение Р. ле Кина. И должны ли мы ещё что-либо сделать с императором? Не смогут ли они все в будущем снова вернуться к своему прежнему облику?

— Есть один магазин на Старой Торговой улице, в котором я ещё не был на этой неделе, — ответил бывший премьер-министр на один из заданных вопросов. — Надо все фигурки собрать и туда отнести. Если мы вынесем их из дворца раньше, чем время снова вернётся к полудню, то вряд ли они когда-нибудь смогут вернуться к своему прежнему облику.

У них не было с собой никакой сумки или котомки, поэтому Омеру пришлось снять с себя пиджак и сложить в него всех придворных, воинов и стражников. После чего, звеня своей фарфоровой ношей, они направились к выходу.

Свиньи на площади перед дворцом ещё спали, но, как показалось Омеру, уже менее крепко — многие из них ворочались во сне, и их сонное похрюкивание становилось всё более громким.

Омер и Конфуций спустились в город, и по-началу улицы, по которым они шли, были пустынными, но той абсолютной тишины, которая была раньше, уже не было, город понемногу оживал. Через некоторое время им стали встречаться отдельные прохожие, которых становилось всё больше и больше по мере того, как они подходили к центру города.

Когда они вышли на Старую Торговую улицу, она уже выглядела совсем обычно, на ней было много людей, входивших или выходивших из разных лавок, просто гуляющих или куда-то спешащих.

Проходя мимо часового магазина Омер заметил, что старинные часы в его витрине показывают начало первого. Сколько именно минут прошло после полудня сказать было нельзя, потому что, как известно, минутная стрелка на них отсутствовала, а все остальные выставленные на витрине часы были маленькими, и Омер не успел их толком разглядеть.

Они прошли мимо магазина зеркал и зашли в фарфоровую лавку. Кроме них в ней не было ни одного посетителя, был только сам хозяин, который в этот момент распаковывал большую картонную коробку и доставал из неё чайные чашки, белые, фарфоровые — как и всё, находившееся в этом магазине — чашки, покрытые крошечными разноцветными бабочками. Конфуций махнул рукой, и, правильно угадав значение его жеста, Омер высыпал все фигурки из своего пиджака на прилавок, после чего бывший премьер-министр стал о чём-то негромко говорить с хозяином лавки.

Омер не слушал их разговор. Он прислонился спиной к дверному косяку у входа в магазин и наблюдал за проходящими мимо людьми.

«Неужели это всё, неужели мы победили, и всё так просто? — думал он. — И неужели все эти идущие по улице люди, смеющиеся и болтающие между собой, ничего не знают, ничего не подозревают о четырёх неположённых часах, прошедших между повторными восьми утра и сегодняшним полуднем?»

2.6. Дом, поддерживаемый пятками деревянного атланта

Только вернувшись домой, Омер почувствовал, насколько он устал. Эта была приятная усталость — когда ты долго пытаешься сделать что-то важное и очень трудное, почти не веря, что оно получится, и, наконец, всё получилось и закончилось, и у тебя совсем уже нет сил, даже нет сил радоваться успеху, хочется лечь и лежать не двигаясь, не спать (Омер уже достаточно проспал за эти последние дни), просто лежать и ни о чём не думать, во всяком случае не о математике, там более что математика — это обычно для той, другой жизни по ту сторону ото сна, так вот, не только не думать о математике, но и вообще совсем-совсем ни о чём . . .

Но Омер не мог себе этого позволить. Ведь сколько всего ни произошло за последний день, особенно за последние его часы, как ни изменился город после исчезновения императора (Омер, кстати, заметил уже из окна своей мансардной квартирки первого котёнка на крыше дома напротив. Котёнок, казалось, размышлял, не запрыгнуть ли ему в комнату к Омеру, но потом передумал, и просто перепрыгнул на соседнюю крышу), так вот, сколько всего ни произошло, сколь быстро всё уже не менялось к лучшему, оставалось одна проблема, по-прежнему очень тревожившая Раджафера.

«Принцесса Альсбета. Она с детства, во всяком случае после того, как пропали её родители, была очень ранимой и впечатлительной девочкой», — думал Омер, уже снова выходя из главного подъезда дома номер 53

по Кошачьему переулку. Ещё он думал о том, что она была очень влюблена в Гвенаэля, и каким должна была быть для неё ударом эта история с украденным письмом, и о том, что он сам был отчасти виноват во всём этом. Его мучили угрызения совести, наверное, он не должен был тогда дать понять, что письмо было похищено Гвенаэлем из рукописи его неоконченного романа. Но, с другой стороны, тот сам об этом проговорился, и в любом случае, эта история с письмом, даже если бы он тогда не оказался при их разговоре, была слишком скверной.

Когда-то ему казалось, что принцесса и Гвенаэль так мило влюблены друг в друга, что будут наверняка очень счастливы вместе, и он заранее за них радовался, особенно за Альсбету. Гвенаэль тогда ему не то что бы очень нравился, но всё же казался довольно симпатичным и способным молодым человеком. Но последнее время он так изменился, или Омер раньше просто не замечал, насколько он заносчив и как-то по-болезненному тщеславен?

В общем, последнее время Гвенаэль уже вовсе не казался Раджаферу симпатичным, и мысль о его предстоящей свадьбе с Альсбетой казалась ему всё менее и менее удачной, тем более, что он замечал, что сама принцесса очень часто огорчается и обижается на Гвенаэля.

Надо также сказать, что отношения между Раджафером и Варангом с самого начала не были очень дружескими. Омер списывал это на то, что Гвенаэль завидует его литературной популярности. Он пытался убедить себя в том, что это ничего, по молодости лет не страшно, главное, что Гвенаэль с Альсбетой хорошо ладят, так ли важно как он к нему, Омеру, относится? Но потом Гвенаэль стал меняться, Альсбета — грустнеть, потом наконец эта история с украденным письмом. После неё уже трудно было простить Гвенаэля, какая девушка простит своего жениха, если он даже любовное письмо сам написать не может и крадёт его у другого? Так что Омер в конце концов не был виноват в том, что эта история выплыла наружу, иначе ещё хуже всё могло бы оказаться. Но почему-то, несмотря на эти рассуждения, его совесть по-прежнему была беспокойна. Не радовался ли он в тайне размолвке принцессы и Гвенаэля? И ещё одна совсем уж нелепая мысль промелькнула у него в голове: украденное письмо было черновиком и ни для чьих глаз не предназначалось, особенно для глаз Альсбеты. Жалко, что она прочитала его в этом черновом варианте. Но какое всё это имело значение, когда главное было понять, где сейчас принцесса и как она? У неё ведь был такой безнадежный и несчастный вид, когда она убежала тогда в слезах, оставив его и Гвенаэля стоять на набережной...

С этими мыслями Омер проделал недолгий путь до дома Альсбеты, подошёл к двухэтажному зданию с прибитой над входом большой синей табличкой «№ 28», поднялся на крыльцо, на котором стоял на плечах деревянный человечек, поддерживавший пятками крышу над крыльцом, и постучал в дверь.

Никто не ответил, но так бывало часто: если принцесса была наверху, она обычно не слышала стука при входе. Он толкнул дверь, которая почти никогда не запиралась, и вошёл в дом. На вешалке при входе он увидел знакомое серое пальто в крупную клетку, и обрадовался тому, что принцесса, должно быть, дома.

Он громко крикнул: «Альсбета», но по-прежнему никто не ответил, и он подумал с грустью: «Какой же я дурак, сейчас уже слишком тепло, чтобы ходить в пальто, наверное, её всё-таки нет».

Он зашёл на кухню и увидел небрежно разбросанную по столу посуду — чайник, чашку, щипцы для сахара — и снова обрадовался. Видимо, принцесса была здесь совсем недавно, и, если она и вышла из дома, то наверняка скоро вернётся. Это было совсем на неё не похоже, куда-нибудь далеко уходить, даже не прибрав со стола посуду.

Может быть, она даже дома, но не услышала его. На всякий случай он снова крикнул: «Альсбета» и потом ещё раз, но тише: «Альсбета» и в последний раз уже почти шёпотом произнёс: «Альсбета». Он повторял её имя, не потому, что всё ещё надеялся, что она здесь, а потому, что тишина в доме начала казаться ему пугающей, и ему хотелось хоть как-то её нарушить. Он пытался успокоиться и говорил сам себе: «Вот чашка и чайник на столе, она, должно быть, только что пила чай, и скоро вернётся».

Но когда он подошёл к столу и разглядел получше стоявшую на нём чашку, то по следу засохшего на её доннышке чая понял, что ошибся: из этой чашки последний раз пили пару дней тому назад, по крайней мере.

«Я даже не знаю, как долго я спал перед походом в императорский дворец, надо было спросить об этом у Конфуция», — сказал он сам себе с упрёком.

Он сел на диван, стоявший в углу кухни, и грустно задумался, спрятав лицо в ладони. В какой-то момент он его открыл и пробормотал: «Нет, нет, только ничего страшного, ничего плохого! Это моя ответственность, история принцессы не должна кончиться грустно, ещё с самого её детства это было моей ответственностью». После чего он снова закрыл лицо руками и продолжал о чём-то думать.

2.7. Конференция по теории мембран

В последние дни людей в институте было намного больше, чем обычно, и повсюду царила изрядная суматоха. Дело в том, что на этой неделе проходила конференция по теории мембран, и со всего света в институт съехалось множество физиков, от крупнейших специалистов до аспирантов и даже студентов. Молодёжи было особенно много.

По поводу этого события были даже нарушены некоторые из основных традиций. Так, например, раньше в институте было принято пить только чай (не считая, конечно, обеда: в столовой после него каждый пил то, что

хочет), но теперь в перерывах между докладами в чайной комнате появлялись также термосы с кофе.

Большинство участников конференции были теоретическими физиками, многие занимались абстрактными областями физики, довольно близкими к математике, и всё же по виду их довольно часто можно было отличить от математиков. Они собирались группами по несколько человек и разговаривали, редко оставаясь в одинокой задумчивости, и вообще казались более весёлыми, но в то же время и несколько более легкомысленными, чем математические сотрудники и визитёры.

И хотя физиков на этой неделе было намного больше, чем математиков, последние тоже время от времени попадались на глаза. Одни заходили послушать доклады по теории мембран, другие просто занимались своими делами, а некоторые из них, возможно, даже не подозревали о проходящей сейчас конференции. У этих последних лица часто были задумчивыми и осунувшимися, взгляд вдохновенным и блуждающим, движения худых рук не совсем понятными — Омер так и не узнал, что именно предпринял в своё время профессор Кон Фу дзе, но баланс в институте восстановился. Упитанных и румяных визитёров стало не больше, чем обычно, и вроде бы все из них были в целостности и сохранности. Среди приехавших физиков тоже был некоторый процент людей если не толстых, то во всяком случае с довольно цветущей внешностью, но за них уж точно нечего было беспокоиться — сразу видно, что если что, они сами за себя постоят.

Оба Филиппа, Моррис и Мэйли, были, видимо, очень раздосадованы срывом своих людоедских планов и последнее время в институте вообще не появлялись. Впрочем, отсутствовали не только они, Омера Раджафера почему-то тоже не было видно на этой неделе. Его отсутствие явно не нравилось Гвенаэлю Варангу, который уже не один раз за этот день подходил к его кабинету, стучал, убеждался в том, что дверь заперта, и раздосадовано уходил.

Вообще вид у Гвенаэля был крайне мрачный, лицо бледное какой-то темно-зелёной бледностью, глаза красные и под ними мешки, как это бывает после ночи, проведённой без сна. Но никто на всё это не обращал внимания. Даже столкнувшийся с ним в коридоре директор, обычно окружавший Варанга почтительной заботливостью, в этот день только мимолётно поздоровался с ним и поспешил куда-то дальше — у него, наверное, как и многих других, мысли на этой неделе были полностью заняты конференцией по теории мембран.

После вечернего чаепития Варанг в очередной раз подошёл к кабинету Раджафера. Он не очень верил в то, что тот мог прийти, но считал нужным в этом удостовериться из какой-то настойчивой упрямости. Поэтому он удивился и даже немного отпрянул от двери, увидев, что она приоткрыта. Потом собрался с духом, постучал и решительно вошёл в кабинет.

Раджафер стоял перед доской с мелом в руке и, должно быть, думал о какой-то математической задаче. Но его задумчивая отстранённость не остановила Варанга.

— Послушайте, не буду скрывать, не то что бы я когда-нибудь к вам очень хорошо относился, но всё же я не думал, что вы способны на такое, — выговорил он негромко, но яростно и замолчал на мгновение, потому что и от волнения, и от быстроты, с которой он говорил, у него перехватило дыхание.

Омер в этот время неспеша перевёл свой взгляд с какой-то формулы на доске на Гвенаэля. Казалось, он не очень хорошо понимал, о чём тот говорил, или, может быть, ему просто не хотелось отрываться от своих математических мыслей.

— Я и раньше подозревал, что вы в большой степени можете управлять событиями и с той, и с этой стороны, но я не понимал, каким образом вы этого добиваетесь, — продолжил Варанг. — Я и сейчас всё ещё не понимаю, но не думайте, что это вам так сойдёт! Как-нибудь я разберусь и пойму, как вам это удаётся. Во что бы то ни стало пойму — я даже дал себе зарок, что справлюсь с этим до ближайшего сочельника!

Тут он остановился, несколько сожалея, что наговорил лишнего. Если он хотел что-либо узнать у Раджафера, нелепо было на него накидываться с такими ребяческими угрозами. Впрочем, казалось, что на Омера его слова не произвели ни малейшего впечатления.

— Я до сих пор не могу поверить, что вы могли сделать такое! По отношению к ней ... — Гвенаэль запнулся, и вид у него был такой, как если бы он изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать.

— Когда я взгляделся в фотографию ... Раньше, ещё месяц назад, она выглядела по-другому, я точно это помню. Не было этого выражения глаз, и поворот головы был немного другой. Я не понимаю, это вы подменили фотографию, или она сама изменилась.

Омер выслушал сбивчивые упрёки Гвенаэля совершенно невозмутимо, после чего сказал, казалось бы, без всякой связи с предыдущим:

— Когда вы взяли письмо из моей рукописи, Гвенаэль, вы могли заметить, что оно не было закончено.

— Да, — еле слышно сказал в ответ на это Гвенаэль.

— Вы хотите прочитать конец письма?

Гвенаэль кивнул головой. По его виду можно было подумать, что он вот-вот упадёт в обморок. Он отказался от предложенного Омером кресла, стоя подождал, пока тот достанет письмо из ящика стола, и взяв в руку несколько листочков, исписанных неразборчивым, но знакомым ему почерком, спросил:

— Я могу прочитать его у себя?

— Нет уж, читайте здесь, я и так не люблю никому давать свои черновики. Хватит и того, что мне пришлось восстанавливать по памяти первую половину письма.

При этих словах Гвенаэль покраснел (хотя ещё несколько минут назад по цвету его лица трудно было поверить, что он может покраснеть) и углубился в чтение.

«Когда я пытаюсь написать тебе или о тебе, Альсбета», — так начиналось письмо, и Гвенаэль быстро пробежал глазами первую, и так ему хорошо знакомую часть написанного:

... так же беспомощен перед чистым листом бумаги ...

... твои белоснежные волосы и твои голубые глаза ...

... можно написать, например, что у тебя вытянутое лицо, крупные губы и довольно большие уши ...

... ямочка на правой щеке ... то, как ты прикусываешь нижнюю губу ... еле заметные вздрагивающие ноздри ... узнаю твою походку, каблучки твоих туфелек, касающиеся неровной мостовой ...

Он дошёл до фразы «мне всегда хотелось объяснить тебе, как ты красива», и после этого стал внимательно читать.

... Мне всегда хотелось объяснить тебе, Альсбета, как ты красива, потому что мне кажется, что молодых девушек сознание собственной красоты обычно делает счастливыми, а мне так хотелось всегда, чтобы ты была счастлива, очень-очень-очень счастлива! С тех пор как я стал твоим опекуном, это казалось мне одним из самых важных моих дел, основной лежащей на мне ответственностью.

И дело это было не из простых. Как было, например, объяснить тебе исчезновение твоих родителей? Все в городе догадывались, что они были съедены людоедом Филипоном, но разве можно было сказать такое совсем ещё маленькой девочке? Ты спрашивала: где мои мама и папа? когда они вернутся? И я не знал, что ответить.

Чтобы отвлечь тебя от грустных мыслей, я стал придумывать сказки, помнишь, я рассказывал тебе множество сказок пока ты была маленькой? Я пытался изменить окружающий мир, неуютный и неприветливый, я пытался что-нибудь с ним сделать, чтобы тебе в нём было проще быть счастливой. Особенно много сказок приходилось придумывать когда ты болела. Помнишь, когда у тебя была скарлатина, ты с утра до вечера заставляла меня читать тебе вслух книжки или что-нибудь рассказывать, а есть лекарства упорно отказывалась? Вообще, ты всегда терпеть не могла лекарства, даже аптеку на набережной Кортееговки любила обходить стороной. И тогда, во время твоей скарлатины, я придумал сказку, в которой здание аптеки превратилось в библиотеку, баночки на её полках стали толстыми учёными книгами, а лысый разговорчивый аптекарь — библиотекарем. Сказка тебе понравилась, ты даже согласилась съесть несколько ложек горькой микстуры, а мне пришлось рассказывать дальше.

Я старался изменять окружающие тебя предметы таким образом, чтобы они становились более интересными, а известных тебе людей делать более добрыми и симпатичными. Даже самые страшные люди из реального мира становились в моей сказке менее пугающими: так, например, из людоеда Филипона и его угрюмого возничего Филипона Младшего я сделал двух толстых профессоров, не очень приятных, но и не злодеев. А их приятеля, хозяина харчевни «Жирная похлёбка», прошлое которого было не менее мутным, чем подаваемый в этой харчевне суп, я превратил в весёлого шеф-повара институтской столовой и лучшего в мире специалиста по пирожкам с рябиновым вареньем.

Но чтобы ни происходило в моих сказках, настоящий мир оставался таким, каким он был. Пока ты была ребёнком, я очень расстраивался видя, что тебе трудно найти себе друзей. Дети из богатых семей не хотели с тобой дружить потому что ты не была богатой, а детей из бедных семей смущало то, что ты как никак принцесса. Кстати, ни те, ни другие не были злыми или плохими детьми. Просто с богатыми детьми было трудно познакомиться, потому что на улице они не играли, а встречались на частых празднествах, устраиваемых своими богатыми родителями. А тебя, несмотря на твое королевское происхождение, на эти праздники звали редко. А если иногда и звали, ты, в своём единственном парадном (и всё же слишком скромном) платье слишком выделялась из толпы других детей, смущалась и с нетерпением ждала конца торжества, когда, наконец, можно было идти обратно домой.

А с бедными детьми тоже было непросто подружиться, их смешила твоя литературная речь (ты всегда много читала, и неудивительно, что некоторые произносимые тобой слова другие дети просто не понимали), их смешила также твоя немного балетная осанка — ты никогда не занималась танцами, но, видимо, осанка перешла к тебе по наследству от твоей матери ...

Потом ты выросла и стала такой красивой и очаровательной девушкой, что мне стало казаться, теперь никаких таких проблем больше не будет. Появился Гвенаэль, и я глазом не успел моргнуть, как вы объявили, что собираетесь пожениться.

Кое-что меня смущало в характере Гвенаэля: его честолубие, его какая-то мрачная целеустремлённость — целеустремлённость не совсем понятно куда. Но, с другой стороны, я знал, что он завидует моей литературной популярности, и пытался себя убедить в том, что это единственная причина по которой у нас с ним не сложились хорошие отношения, в том, что когда он сам напишет побольше книг, это всё само собой пройдёт, в том, что в целом он молодой человек милый и симпатичный, и, главное, что тебе он очень нравится — какое всё остальное могло иметь значение?

Раз Гвенаэль был теперь твоим женихом, мне хотелось, чтобы он был как можно лучше, и я тут же придумал сказку, в которой Гвенаэль был очень похож на настоящего Гвенаэля, но при этом был ещё более талантливым и преуспевающим, чем на самом деле. Но тебе эту сказку я рассказывать не стал, ведь ты давно уже выросла, а

сказки полагается рассказывать только маленьких детям. К тому же ты считала, что знаешь Гвенаэля гораздо лучше, чем я, и вряд ли нуждалась в моих рассказах. Однажды ты сказала, что если когда-нибудь будешь счастлива, то только с ним. Такие фразы люди очень часто произносят просто так, но я почувствовал, что в этом случае именно так оно и есть.

Мне казалось, вот он, наконец, единственный шанс сделать тебя счастливой в этом городе, всегда бывшем к тебе враждебным, я думал, любовь Гвенаэля всё исправит и заставит тебя забыть твоё не слишком счастливое детство. Но я ошибался... Я давно уже догадывался, что ошибался, но не хотел себе в этом признаваться и надеялся, что как-нибудь ещё всё уладится. Но после нашей встречи, после того, как выяснилось, что Гвенаэль украл тогда из моей рукописи письмо, которое отправил тебе и которое так тебе понравилось, после этого разговора я увидел в твоих глазах такое отчаяние, что впервые в жизни по-настоящему за тебя испугался.

Как мне сделать тебя счастливой в этом городе, узкие улицы которого ты всегда немного недолюбливала, в городе, где у тебя не было друзей, где соседки без конца судачили о твоей слишком скромной — для принцессы — одежде, о твоих слишком больших (хотя на самом деле совершенно очаровательных!) ушах, иногда, с притворной жалостью, о твоих пропавших родителях... Стоило мне представить, с какой радостью и с каким энтузиазмом они примутся сплетничать о твоей несостоявшейся свадьбе с Гвенаэлем, как все городские улицы и переулочки начинали казаться мне совершенно невыносимыми, во всяком случае, было невозможно тебя здесь дальше оставлять!

Я вспомнил, что в детстве ты не слишком любила городскую жизнь. Когда погода была ясной, мы ходили с тобой смотреть на возвышающуюся с юга от города Белую гору, и ты без конца меня просила рассказывать сказки о белых животных, живущих на горе: о белых золотистых собаках, о бело-голубых орлах, о пасущихся неподалёку от селений из светлого камня белых козочках.

Наверное, надо было поселить тебя там, в горах, пока ты была маленькой, но я не знал, как это было организовать — в городе, по крайней мере, я мог за тобой присматривать. К тому же, мне казалось, что будучи принцессой ты обязана получить хорошее городское образование: помнить годы правления всех королей последней династии, уметь писать стихи триадическим анапестом и знать, что если у прямоугольного треугольника катеты равны двадцати восьми и сорока пяти, то гипотенуза всегда будет равна пятидесяти трём...

В общем, в голове у меня тогда была сплошная ерунда, как я теперь понимаю, и заплатить за эту ерунду пришлось слишком дорого. «Я никогда не смогу быть счастливой без Гвенаэля», — сказала ты когда-то, так просто сказала, но не оставляя не малейшей возможности для сомнений в истинности сказанного, и потом эти слезы в твоих безнадёжных глазах, когда ты узнала о подделанном им письме.

Ты права, как ни горько мне это признавать, но в твоём обычном обличье ты не можешь быть счастливой в нашем неприветливом городе. Но я решился наконец и отпускаю тебя: беги прочь из него, беги быстро-быстро и не останавливайся, пока не достигнешь белых лугов и светлых рощ стоящей на юге Белой горы. Там ты ещё можешь быть счастливой, я знаю, ты уже отчасти забыла своё прошлое и чувствуешь себя намного свободней и лучше. Я представляю тебя бегущей по светлой горной тропе, и сердце моё наполняется радостью. Я вижу, как ты наклоняешься к ручью чтобы из него попить, и в прозрачной воде отражаются твои голубые глаза и твоя белая чёлка, ты пьёшь, и напившись, прикусываешь левой краешек твоей крупной нижней губы, довольно поводишь большими белыми ушами, откидываешь за них твою густую светлую гриву и весело скачешь прочь от ручья, в сторону душистого луга, и твои маленькие копытца стучат по прибрежным камням. Когда я слышу этот стук, этот ритм, который я ни с чем никогда не спутаю, мне становится немного грустно. Я думаю о том, что теперь мне уже не поболтать с тобой, не поспорить с тобой о теореме Пифагора, о мелодике классического древне-королевского эпоса — или о чём мы только с тобой не любили спорить! — но это не очень важно, теперь я знаю: и по звуку твоих лёгких шагов, когда ты перепрыгиваешь с камня на камень, и по свету в твоих голубых глазах, и по еле заметной складочке на твоей светлой правой скуле — знаю, что ты наконец счастлива...

Дочитав письмо, Гвенаэль положил его на стол, вышел, не глядя на Раджафера, из его кабинета, вернувшись к себе бережно поднял с пола брошенный им до этого портрет белой дикой лошади, повесил его обратно на стену над письменным столом, и, впервые за последние дни, беззвучно заплакал.

Часть третья. Вместо эпилога

Неподалёку от города был лес, обычный хвойный лес, меж сосен которого стояли огромные камни. Вроде бы, камни эти появились в лесу относительно недавно, столетия три или четыре тому назад, во всяком случае более ранних упоминаний о них не сохранилось.

В позапрошлом веке секрет этого леса знали художники. Камни были воротами в другой мир. Неверно думать, что есть только один способ в него попасть: задуматься о математике, и только один способ из него вернуться: заснуть. Есть и другие способы попадать с одной стороны на другую, но все они более редкие, чем математический. Камни были одним из них.

Время от времени большие камни могли открываться, и, если особенно повезёт, из них мог кто-нибудь выскочить с той, другой стороны. Это мог быть, например, крестьянин, козочка или большая светло-золотистая собака.

Художники собирались каждую неделю в лесу и ждали, как из камня кто-нибудь выскочит — и тут же его рисовали. Вернее, рисовали они не всех, проникших в наш мир через эти своеобразные ворота, а только тех, кто им больше всего понравится. Особенно они любили рисовать крестьянок, козочек и овечек, а вот золотистых собак, наоборот, почему-то никогда не рисовали. Многие удивлялись: почему на их картинах самые обыденные вещи: овца какая-нибудь, или простая деревенская женщина — имеют такую непривычную выразительность? Художники в ответ довольно посмеивались и делали всё от них возможное, чтобы их тайна никому не стала известна.

Но камни имеют свой возраст, со временем камни становятся твёрже. Чем старше становились большие камни в сосновом лесу, тем труднее им было открываться. Происходило это всё реже и реже. К началу прошлого века это стало столь редким событием, что художники полностью забросили свои лесные встречи, а кроме них про секрет камней так до сих пор почти никто и не знал.

Камни теперь открывались не только редко, но также всё менее широко, теперь через отверстие никто уже не мог пролезть — ни козочки, не щенята — разве может быть белые бабочки иногда ещё залетали. Потом камни стали приоткрываться совсем чуть-чуть, даже мотыльку теперь было через них не пролететь. Потом вовсе перестали открываться.

Но в некоторых из камней остались трещины, и через них несколько десятков лет назад начали прорастать деревья. На вид они не слишком отличались от обычных, но если присмотреться повнимательней, то всё же заметно, что деревья эти нездешние.

Профессор Мэйкпис Иеремия Тайт был одним из наиболее замечательных математиков последнего века. Он был известен самыми разнообразными своими достижениями, и одной из областей, которыми он занимался, была теория деревьев.

Когда-то, каждый день, стоило ему только задуматься о математике, как он тут же оказывался там, по ту сторону: на набережной Кортеевовой, на площади Александера, в Кошачьем переулке или на улице Перевернутого Атланта, там, где жили в то время родители принцессы Альсбеты.

Когда он думал об изобретённой им самим теории деревьев, он оказывался обычно неподалёку от города, предместья которого — особенно с южной стороны, смотрящей на Белую гору — были покрыты вечнозелёным лесом.

Но чем старше становился профессор Тайт, тем реже он попадал в тот другой, математический мир. В какой-то момент он обнаружил, что даже если он долго думает о математике, непонятные перемещения больше не происходят.

Не то чтобы теоремы больше не доказываются, нет, он по-прежнему занимается математикой, (и во всяком случае одних воспоминаний о городе под Белой горой ему должно хватить ещё на целую сотню теорем!).

Его результаты важны и интересны, зачастую они не менее остроумны, чем у его более молодых коллег. Но всё же это не то же самое.

Многие даже вряд ли заметили эту перемену в нём и в его работах, но сам-то он о ней знает. Он чувствует грусть, вспоминая тот, другой город, теперь ему недоступный. И когда его печаль становится особенно сильной, он садится в пригородную электричку и едет на ней до станции «Лесные глыбы», бродит по хвойным зарослям и вглядывается в деревья, проросшие через камни. Он-то лучше всех — во всяком случае, лучше всех, находящихся по эту сторону — знает, что это за деревья.

Мы сказали, что в прошлом веке камни уже по-настоящему не открывались. Это не совсем верно. Был один исключительный случай, о котором мало кто знает. Чтобы рассказать о нём, надо сперва рассказать о том, кто такой Александр Гротендик.

Это ещё один совершенно замечательный математик второй половины ушедшего столетия. Он доказал множество прекрасных теорем, но ещё больше, чем доказанных им теорем, было количество придуманных им новых научных теорий.

Многие математики его очень любили, потому что теории эти были абсолютно гениальными. Но некоторые всё же его не любили, потому что характер у него был довольно тяжёлый. Если он решал что-либо сделать, то никогда не менял потом своего решения.

Про него часто рассказывают, что он был высокого роста, что он брил наголо свою голову, что родным языком его матери был немецкий, что его отец родился в Белоруссии, но все эти детали его биографии не имеют, на наш взгляд, большого значения.

Ещё говорят, что математикой он занимался с утра до вечера, что все, и почитатели, и недруги его с нетерпением ждали, какую же новую теорию он вот-вот придумает — потому что новые теории возникали в его голове не реже, чем раз в месяц.

Всё это, несомненно, чистая правда, также как и является правдой то, что в один прекрасный день Александр Гротендик подумал за завтраком: не перестать ли мне заниматься математикой?

Он доел яйцо, сваренное в мешочек, дожевал свой утренний сухарик, и после этого решение его созрело окончательно: математикой он больше никогда заниматься не будет.

Но уже за чашечкой чая он понял, что решение это не слишком простое: он, несомненно, будет очень сильно скучать по реке со странным названием Кортевег де Фриз, по Старой Торговой улице, по Кошачьему переулку, по Белой горе — короче по всему тому, что осталось с той, отныне закрытой для него стороны.

«Надо было хотя бы взять что-нибудь оттуда себе на память», — подумал Гротендик.

Он обвёл взглядом свою комнату. Нет, ничего нет, он ни разу раньше не догадывался захватить с собой, засыпая, что-либо из того, другого мира. Таким образом, для того, чтобы у него что-нибудь осталось на память, необходимо было снова туда хотя бы один раз попасть, а для этого, как известно, надо было очень сильно задуматься о математике. Но Александр Гротендик не был человек, который станет менять свои решения. Раз уж он пообещал себе за завтраком, что никогда больше не будет заниматься математикой, значит, так тому и быть.

«Раздобыть бы хотя бы какую-нибудь мелочь: обрывок утренней газеты, камешек с набережной Кортеве-говки или на худой конец крылышко голубя, сидящего на рогах скульптуры в центре площади Александера», — сказал сам себе Гротендик.

Через минуту его глаза радостно сверкнули — не математической, а самой обычной радостью — потому что он нашёл выход из сложившейся ситуации.

Он взял с собой большой холщовый мешок и направился в пригородный лес, в тот самый, в котором раньше любили собираться художники. В то время электрички туда не ходили, железнодорожной станции «Лесные глыбы» ещё и в помине не было, так что ездить туда приходилось на автобусе и дорога была довольно долгой.

Александр Гротендик был единственным пассажиром, вышедшим на окраине леса с большими камнями. По выходным дням в этом лесу довольно часто встречались гуляющие люди (хотя было их гораздо меньше, чем сейчас, когда туда провели железную дорогу), но, к счастью, день был будним, в лесу никого не было видно, и это было на руку Гротендику.

Он подошёл к одному из больших камней, положил перед собой холщовый мешок и стал ждать. Не прошло и получаса, как камень открылся, и из него выскочил маленький белый козлёнок. Гротендик поймал козлёнка, засунул его в мешок и стал ждать дальше. Ещё через несколько минут: раз, два, три, четыре, пять — и из камня друг за дружкой выскочило ещё несколько козлят. Гротендик всех их тоже посадил в мешок, убедился в том, что отверстие камня плотно закрылось за последним козлёнком, и отправился в обратный путь.

По будням автобусы ходили редко, ему пришлось ждать почти что целый час, но другого способа выбраться из леса не было.

Подошедший, наконец, автобус не был полным. Но всё-таки в нём было человек десять пассажиров, и все они очень удивились, увидев входящего высокого мужчину, с большим лбом и наголо бритой головой, за спиной которого был огромный холщовый мешок, всё время шевелившийся и вздрагивающий. Нельзя было также обойти вниманием и тот факт, что из мешка довольно часто доносилось нежное негромкое блеяние.

Но Гротендик, не обращая внимания на удивлённые взгляды попутчиков, благополучно доехал до города и вышел на остановке около центрального вокзала. Есть очевидцы, которые утверждают, что видели, как он покупал после этого в вокзальной кассе билет на ближайшей поезд в направлении Южного моря.

Не удаётся доподлинно выяснить, что с ним происходило потом и что с ним происходит сейчас. Ходят слухи, что он живёт где-то на юге, окружённый огромным козым стадом.

Говорят также, что в головках козьего сыра, продающегося на рынке одного из приморских городов, обнаруживают теперь время от времени золотистые ядрышки крупных лесных орехов.

От редакции выпуска

Математика — это наука, имеющая применения в различных областях, таких как химия, физика, экономика и социология. За последние два с половиной тысячелетия математика пережила стремительное развитие. В этой книге обсуждаются наиболее старые её результаты, такие как теорема Пифагора, более современными, но всё же весьма элементарными (построение правильного 17-угольника), но также и уже введенные в двадцатом веке объекты и понятия (сфера Александера, множество Мандельброта). Вкратце затрагиваются активно развивающиеся в наше время области (теория струн, конформная теория поля, программа Ленглендса).

Книга предназначена для школьников, студентов, исследователей и преподавателей математики, а также для всех интересующихся этой наукой.

Закончив писать последнюю фразу, заведующий научно-популярной серии оторвался от своего компьютера и встал из-за стола, приветствуя входящего в его кабинет технического редактора.

— Как, вы уже написали аннотацию для новой книги? — спросил технический редактор.

Заведующий научно-популярной серии в ответ недовольно махнул рукой.

— Конечно, вот только что кончил писать. Это дело недолгое. Всегда примерно одна и та же дребедень. Несколько строчек, которые все прочтут, потому что они будут напечатаны на обложке жирным шрифтом, но из которых вряд ли много что можно узнать.

— А что бы вам действительно хотелось сказать будущим читателем этой книги? — спросил технический редактор. — Представьте, что вам не обязательно следовать стандартному стилю, что бы вы тогда написали?

— То есть совсем-совсем забыв про стандартный стиль? — спросил, заметно оживившись, заведующий научно-популярной серии. — Если бы действительно совсем отменили обязательный стандарт для аннотаций, я бы написал, наверное, что-нибудь в таком роде.

Эта книга — попытка описания математического мира. Этот мир — огромный и удивительный, самой толстой на свете книги не хватило бы, чтобы его полностью описать, так что не удивляйтесь, что в эту книгу попали только крохотные его кусочки. Чтобы узнать о нём побольше, надо самому в него попасть, а это совсем не просто. Если вы никогда в нём не были, особенно если вы ещё молоды, я очень вам советую попытаться это сделать!

Вы никогда раньше не слышали об этом мире и о вообще о математике почти ничего не знаете?

Или, может быть, о математике вы кое-что уже знаете, но полученные вами знания приносят скуку и усталость, и вы сильно сомневаетесь в том, что думая о математике, можно попасть в совершенно другой прекрасный и увлекательный мир?

Тогда у меня для вас есть один совет. Я сам отлично знаю, иногда так бывает: сидишь на лекции, профессор или докладчик пишет на доске какие-то запутанные формулы, смысл которых от вас совершенно ускользает. А за окном светит солнце, так тепло и ярко, и хочется выскочить опрометью из аудитории, и пойти гулять по нашему обычному миру, освещённому этим ласковым весенним солнцем, такой бессмысленно скучной и блеклой кажется по сравнению с ним непонятная и непонятно для чего нужная лекция...

Так вот, именно на такой случай у меня для вас есть совет. Возьмите зеркальце, обычное небольшое зеркальце, поймите в него солнечного зайчика, и, когда лектор отвернётся от слушателей, пустите прыгать вашего зайчика по доске. Поторопитесь, пока лектор этого не замечает, постарайтесь направить зайчика на самую сложную и запутанную формулу.

Вас, наверное, удивит, что, вспыхнув на мгновение в сплетение каких-то непонятных обозначений с ещё менее понятными двойными индексами, ваш зайчик куда-то неожиданно пропал?

Знайте, что он не исчез, просто он скачет теперь где-то в лесу под Белой горой, по крыше императорского дворца, по лестнице, ведущей к старой аптеке или просто по набережной реки Кортеевовой — да, ваш солнечный зайчик уже попал в тот другой, математический, пока, возможно, ещё не доступный для вас мир, и может быть вам когда-нибудь тоже удастся в него проникнуть.